

Юрий КРАСАВИН**РУССКИЕ СНЕГА****роман**

Замело тебя снегом, Россия...

(Из песни)

ГЛАВА ПЕРВАЯ**1.**

Бывает, что один и тот же сон приснится одновременно нескольким людям, да ещё и живущим в разных местах. По крайней мере на этот раз было именно так: видели его спящие в соседних деревнях – в Лучкине, в Пилятицах, в Воздвиженском. Может быть, и ещё где-то кто-то видел, да как о том узнать?

Вот он, этот красочный и тревожный сон...

Снился вечер... Солнце раскалённым шаром опустилось за дальним лесом. Должно быть, оно угодило как раз в болото, словно раскалённый камень в лохань с водой, потому что там поднялось облако пара, которое, возрастая, превратилось в тучу, а та растекалась над горизонтом, становясь всё грознее. Яркая вспышка света выхватила из тьмы её косую угловатую трещину, и ударил гром; потом ещё и ещё. Эти громовые удары раздавались почему-то через равные промежутки времени, поэтому были похожи на колокольный, набатный звон.

- На именины царевны... слушайте спаского набатца, - вкрадчиво предупреждал спящих кто-то невидимый.

«Какой ещё царевны?» - сонная эта мысль в головах была пуглива и билась, подобно случайно залетевшей бабочке о стекло.

Голос другой, удаляясь, говорил не совсем внятно:

- После вечернего набатного звону... до утреннего набатного ж звону...

Было видно, как молнии ударяли одна за другой в утонувшее солнце, должно быть, толкая его, отчего оно невидимо плыло за краем земли вдоль горизонта. Не заря перемещалась от запада к востоку, как это бывает летом, а туча, багрово под-

свеченная снизу. Люди же спали в томлении духа, но с надеждой, что вот-вот утихнет этот похоронный колокольный звон, повергающий в тревогу и печаль

Такой вот сон.

В нём удивительны были краски – раскалённый алый шар солнца с темными пятнами окалины, багровость и лиловость тучи, всплески чуть синеватого света... удивительны были и удары грома, казавшиеся круглыми, как шары - они раскатывались по земле, подминая леса и селения, и спящих в этих селениях.

А утром в подтверждение красочно-грозного сна солнце встало из-за края земли нехотя, словно по принуждению, и было непривычно огромное, будто распухшее. Багровый этот шар завис над землей... того и гляди лопнет. Встававшее солнце не слепило глаза, свет излучало красноватый и казалось обессиленным, как больное сердце. Люди оглядывались на него и подолгу смотрели из-под руки, пораженные или озадаченные. Так смотрят на зарево пожара.

Кое-кому казалось, что это и не солнце вовсе, а круглое чело печи, в которой ровно и ярко горит огонь. Можно даже различить малиново пылающие уголья, но пламя, полыхавшее по ту сторону небесной сферы, не давало земле тепла – холодное было утро, зябкое. В эту небесную печь да набросать сухих поленьев, они горели бы там, потрескивая, и даже, возможно, постреливая алыми угольками на землю – может, тогда стало бы теплее?

В это утро и вороны не каркали, и коровы не мычали. Начавшийся день навевал оцепенение и в то же время тревожил, бередил неясными предчувствиями, будто в воздухе растворилось что-то, заставлявшее затаиться всё живое. Так бывает перед очень сильной грозой или перед бурей, когда неподвластные человеку силы готовятся устроить очередную встряску неба и земли.

2.

В школе села Воздвиженское было непривычно тихо. Никто не бегал по коридору, не толкался, не боролся, не кричал и не смеялся. Ученики приходили, рассаживались по партам и сидели смиренно, сонно. И звонок давать было ни к чему: унимать некого. Впрочем, и в обычные-то дни кому тут особо шуметь? Школа считается средней, то есть полной, но вот десятом классе только один ученик - Ваня Сорокоумов, а в девятом - Катя Устьянцева, и больше никого. Сидят они на соседних партах, вместе с ними еще и восьмиклассники.

По утрам в школе обычно бывало холодновато, а нынче особенно: пожилая техничка поздно затопила печи. Пожаловалась на саму себя:

- Сплю на ходу... Что-то нынче лень меня одолевает.

И дрова-то у неё горели нехотя, и вьюшку в трубе она не открыла вовремя – дымом пахло и в коридоре, и в классах.

Старшеклассники к первому уроку опоздали оба, хотя пришли порознь. Впрочем, они и раньше иногда опаздывали, и никто из учителей их за то не упрекал, потому как причина вполне уважительная: они ходят в школу издалека: из Пилятиц да из Лучкина. И кому нынче упрекать их! И учительницы-то сонные, как мухи по осени.

Из окон школы виден грейдерный большак, измученный тракторами; он вторгался в село, как грязевой поток. После первых морозов грязь уже окоченела, а лужи застеклились ледком. В конце улицы – выгон, огороженный с двух сторон длинными, покосившимися изгородями. За выгоном поле, далее лес – туда уходит грейдерная дорога – в той стороне Ергушово, Починок, а дальше – Пилятицы и Лучкино. В такую пору – поздняя осень, предзимье - куда ни глянь, повсюду сирый и унылый вид.

«Оттого и солнце занедужило» – решил Ваня, вздохнув, и нехотя полез в сумку за учебником..

Красный солнечный свет через окна упирался в географическую карту и портрет Ломоносова в старой рассохшейся раме; белые шапки обоих полюсов налились ягодным соком, и лицо на портрете ожило, обрело вполне естественный румянец. Михайло Васильич с интересом следил, а не растает ли Северный Ледовитый океан, и не потекут ли его воды вниз, в зоны тундр, лесов и степей.

Катя Устьянцева окунула руку в красный световой поток.

- Клюквенная кровь, - сказала она. – Или брусничное варенье.

- Оближи, - посоветовал ей Ваня.

- Как грубо! - прошептала она. – Что за манеры! В какой семье вы воспитывались, молодой человек? Кто ваши родители?

И вот тут по красной шапке Северного полюса к Южному и по лицу Ломоносова, по его белому парику заскользили пятнышки теней - начался странный снегопад. Нелепость какая-то: на небе ни облака, солнце светит – и вдруг этот снег.

Казалось, из неподвижного, замершего воздуха возникали снежинки, удивительно крупные, словно одуванчики; они свободно витали, должно быть, во всем пространстве между небом и землей, очень медленно, почти незаметно снижаясь, каждая осмотрительно выбирала себе место для приземления. Впрочем, уже упав и почувствовав под собою земную твердь, снежинки могли подняться и кружиться вновь, как живые.

Цепляясь друг за друга, они повисали на изгородях и деревьях, как повисают перелетные рои пчел, льнули к окошкам молчаливых домов. Снеговая завеса заслонила солнце, стало хоть и не сумеречно, а как-то слепо. Бело и слепо. Из окна школы уже неразличимы стали сельская улица с колодцем-журавлём, дорога, истерзанная гусеницами тракторов и с затянутыми ледком лужами.

Снежинки скользили по оконному стеклу, и словно бы от прикосновения их странные звуки долетали в класс: обрывки музыки, голоса, что-нибудь обыденное – плач младенца, звон пилы, лягушиное кваканье... С улицы как бы дуновением ветра принесло вдруг чью-то горячую мольбу:

- Болящу ми душу... страстными наводнениями исцели, Мати Божия Пречистая... и ко спасению исправи...

- Сороконожкин, твои фокусы? - прошептала Катя, оглянувшись на учительницу. - Выключи....

Это она подумала, что у него в кармане радиоприёмник. Верно, таковой носил он с собой раньше, но в нём вот уж недели две как сели батарейки, а новых где купить? Катя никогда не звала его по имени или по фамилии – только так: «Сороконожкин» или почему-то ещё «Дементий». Неостроумно, даже глупо, но уж так привыкла.

- Болящу ми душу... - прошелестело от другого окна, и голос был удивителен – исполнен страдания и мольбы.

Все это было странно, однако в школе удивлялись этому вяло, словно уже устали удивляться.

3.

Минувшим летом Катя вдруг повзрослела, то есть она обрела завораживающие признаки девичества – в голосе, во взгляде, во всей фигуре.

- Ишь, какая красавица подрастает! – говорили о ней люди посторонние

Некоторые выражались так:

- Этот товар не залежится. Уведут!

Кажется, она сознавала, что похорошела и слово «красавица» сладко тешило её, и это сердило Ваню Сорокоумова, потому он называл её «девой» или «барышней». Он как-то очень ревниво стал воспринимать то, что ею откровенно любовались, куда бы она ни пришла.

Сильно изменился и он - это потому, что с ним минувшим летом случилось несчастье: упал с мотоцикла. Будто железная подкова с шипами раскроила его лицо, взрезав обе брови, скулы и подбородок – кто видел его впервые, именно так и думал: лошадь лягнула. По этому поводу он даже стихи сочинил.

*Мне на долгую память гнедая кобыла
На лицо, как на справку, печать приложила.
Но имеет ли силу документ лица,
Если нет на ней подписи от жеребца?*

Но нет, не лошадиная подкова тому виной – таково уж расположение камней в том ручье, куда он упал, сорвавшись с узкого мосточка на полной скорости.

Семь швов наложил ему на лицо хирург. Прошло несколько дней, и уж сняли те швы, а Ваня всё лежал без сознания, не открывая глаз и не произнося ни слова. Потом будто проснулся и быстро пошёл на поправку. А когда вернулся домой, прежнего Вани Сорокоумова уже не стало – словно каким-то непостижимым образом подменили его в городской больнице: и облик иной, и характер тоже: прежний был нрава веселого, а этот повзрослому серьёзен, пугающе молчалив.

Его перестали узнавать знакомые! Самое поразительное: даже мать однажды спросила:

- Вань, да уж ты ли это? Может, подменили мне сына-то?

Он в ответ улыбнулся, мгновенно тем самым рассеяв её несерьёзное сомнение. Вот только улыбка и осталась от прежнего Вани, а то ведь и голос, и походка, и характер – всё иное стало!

Катя Устьянцева прямо-таки отшатнулась от него в испуге, и не сразу, не сразу узнала. Впрочем, это был не страх, а иное... Он ясно понял, какое отталкивающее впечатление произвёл на неё

- У тебя такое свирепое выражение на лице, что хоть в разбойники на большую дорогу, - сказала она.

- Дельная мысль, - отозвался он хладнокровно. – Я подумаю над этим.

- Тебя, небось, и лошади теперь пугаются? – безжалостно продолжала она.

Он подтвердил, вздохнув:

- Да... Я и сам пугаюсь, как в зеркало гляну.

В школу им ходить - расстояние одинаковое, что от Лучкина идти в Воздвиженское, что от Пилятиц: пять километров; причем, кто их мерил, те километры, может и больше. Две трети пути им можно идти вместе, но Катя и раньше «держала дистанцию» между ними - это затем, чтоб в школе не дразнили их «женихом» и «невестой». Катя заносчиво говорила:

- А не много ли тебе чести, чтоб рядом со мной идти?

- Барышня, я на это не претендую, - отвечал он ей с большим достоинством.

Она сердилась на такое обращение - «барышня», «дева», а поскольку за ним стали водиться некоторые странности, она придумала ему новое прозвище - «Иван-царевич», вкладывая в

это какой-то ей одной ведомый, очень насмешливый смысл. Наверно, тут подразумевалось «Ваня-дурачок» или что-то вроде того.

4.

Было так дремотно и сонно в школе, что первоклашки в соседней комнате попросту уснули. Оттуда пришла молоденькая учительница Светлана Ивановна с выражением беспомощности на лице: спят ей ученики, ничего не может с ним поделаться. Учителя посовещались меж собой, озадаченно оглядываясь на окна и говоря «Экая непогодь!», потом решили распустить их по домам. Растолкать спящих поручили Ване Сорокоумову: В том был резон: едва разлепив глаза, и самые сонные вздрагивали, тотчас приходили в себя и покорно выполняли Ванины распоряжения.

За первоклашками – их и всего-то пятеро - последовали второй и третий классы... Нечего было им в этот день и в школу приходить! Все оставшиеся вместе с учительницами сошлись в одной комнате, где теплее.

А снегопад усиливался, кто-то облепленный снегом этак как бы по воздуху проплыл мимо окон школы, явственно говоря:

- На именины царевны... Слушайте спаского набатца...

Сидевшие в классе переглянулись недоумённо. Светлана Ивановна, стоявшая у окна, непроизвольно отступила. Ваня Сорокоумов сказал глубокомысленно:

- С дуба падают листья ясеня...

Тут случилось ещё вот какое происшествие.

Дверь в класс открылась, через порог нерешительно переступил... нищий. То есть именно такой нищий, каким ему полагается быть: в лохмотьях, озябший и, должно быть, голодный. Он по возрасту годился бы в товарищи вот хоть бы Ване Сорокоумову... Где он, на какой свалке подобрал то, во что был одет? Нечто похожее на пальто... вроде бы, из мешковины, в грубых заплатах.

«Наверно, это называется «армяк» или «клифт»» – успел подумать Ваня.

На боку у нищего висела пустая холщовая сума, а самое поразительное – он был в лаптях!

На него смотрели оторопело: что это, ряженный? И нищий несколько секунд немо, изумлённо обводил взглядом сидевших за партами и стены с развешанными географическими картами. На лик Ломоносова с испугом перекрестился, что-то прошептав, и отступил в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь.

Учительницы переглянулись.

- Боже мой, - сказала одна из них как бы себе самой и нахмурилась. – До чего мы докатились с этой государственной перестройкой! Ишь ты, уж нищие появились... в лаптях.

- Разрешите? - спросил Ваня и, не дожидаясь разрешения, вышел из класса.

Но ни в коридоре, ни на школьном крыльце нищего уже не было. Он пожал плечами и вернулся.

- Однако это что-то мне напоминает, - сказала Катя Устьянцева, когда он вернулся. – Есть у художника Перова такая картина: ученики в классе, а в дверях стоит паренёк-нищий, как раз с такой вот сумой и в лаптях.

- Это был он, - сказал Ваня очень серьёзно. – Сошёл с картины и отправился по миру - милостыни собирать.

5.

И все другие классы отпустили раньше времени.

- Дементий, как домой пойдём? Заблудимся.

Прозвище это вот откуда: однажды, отвечая у классной доски, он басню Крылова «Демьянова уха» назвал «Дементьевой ухой». Катя фыркнула от смеха... хотя что тут смешного? Впрочем, он не обижался ни на её смех, ни на прозвище. Он простил бы ей и более обидное, он как бы признавал за Катей такое право, но обращался с нею довольно сурово.

- Барышня, не много ли для тебя чести, чтоб идти со мной вместе?

- Не покидай меня, Дементий. Как знать, может быть, я тебе ещё пригожусь.

- Например?

- Если на нас нападут волки, ты отдашь меня им на съедение, а сам останешься жив. И волки сыты, и ты цел.

- Дельная мысль...

Им немного повезло: как вышли из школы – подкатил, дребезжа, рейсовый автобус, на нём можно проехать часть пути – до Ергушова, а уж дальше просёлком. Однако же это был дряхлый автобус, двигался он медленно, как в похоронной процессии, словно боялся заблудиться в снегопаде; на выбоинах постарушечьи приседал, охая и всхлипывая; в моторе у него что-то жалобно поскуливало и подвывало, того и гляди издаст последний всхлип и замрёт навсегда. Наверно, он уже исчерпал свой жизненный ресурс и двигало им лишь сознание долга.

Пассажиры сошли с него, испытывая облегчение: уж лучше пешком идти, чем так ехать.

- Катафалк, - проворчал Ваня.

Развернувшись с жалобным скрипом, «катафалк» скрылся за снегопадом.

- Я не успел заметить, а сидел ли кто в шоферской кабине?

- А верно, - отозвалась Катя. – Я тоже не видела водителя.

- Это самоходный гроб, - мрачно решил Ваня.

На окраине Ергушова у дороги лежало рогатое дерево. Оно рухнуло в прошлом году – кто-то подрубил с неведомо какой целью - и служило удобным сидением для тех, кто ожидал тут попутного транспорта. У него обломали ветки, ободрали кору, и вот на голом стволе нынче оказалось выжжено четк – словно с неба упали огненные буквы: «СЛОВА УЛЕТАЮТ, НАПИСАННОЕ ОСТАЁТСЯ». За толстым суком надпись продолжалась после короткого тире: «VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT».

Ваня постоял над этой надписью, размышляя вслух:

- Вэрба волант, скрипта манент... Надо же, какой-то умелец... не поленился выжечь да ещё так красиво... словно печать приложил.

- Разве не ты?

- Я не настолько прилежен...

- Кроме тебя, больше некому.

- Я начертал бы по-гречески.

- Ты разумеешь по-гречески? – ехидно осведомилась она.

- Нет, не сподобился.

- Но у тебя же сорок умов!

- Полагаю, кто-нибудь подсказал бы... Ты же слышишь, вокруг нас всё время какие-то шепоты.

- Не пугай меня, Дементий. Пойдём скорей домой.

А вокруг было очень тихо... и медленно падал снег.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

Это был странный снегопад: на небосклоне, где быть солнцу, светило размытое пятно. Неужели там, высоко вверху, ясное небо? Откуда же тогда снег? Белая тьма кругом.

И дорога, и лежащее дерево исчезли за снежной пеленой, едва от них удалились на десяток шагов. Просёлок, уходящий в сторону от большака, от деревни Ергушова, едва угадывался под снегом, который толстым слоем покрывал и её, и то, что справа и слева, а придорожные кусты являли собой диковинные фигуры, некоторые из них имели устрашающий вид.

Теперь-то Катя шла, не отставая: боялась потеряться.

- Ты чего, как собачка на поводке? – сказал он ей через плечо. – Иди рядом.

Она ему в ответ:

- Собака всегда бежит впереди хозяина.

- Грубишь, заметил он и прибавил шагу, пошёл так быстро, что она уже поскуливала жалобно:

- Ну, Дементий, не сердись... Этак я отстану и потеряюсь. А ты за меня в ответе перед Богом и людьми. Слышь, Дементий!

- Иван-царевич, - поправил он и сбавил шаг.

Временами ему казалось, что впереди маячит человеческая фигура, залепленная снегом, или даже две. То и дело неясные голоса долетали, но не понять было, кто говорит и что говорят. Наличие этих путников впереди немного успокаивало: значит, верно угадывает дорогу. Впрочем, голоса слышались и откуда-то сбоку, и даже сверху – снег, что ли, разнимал чей-то разговор на части и разносил по сторонам?

- Где-то рядом попутчики, - сказала Катя настороженно.

- Это бесы, - пояснил Ваня. – Они всегда в эту пору... у них теперь самый лёт.

- Почему именно теперь?

- Вишь, какая замять! А тут мы с тобой... Их хлебом не корми, дай только поводить людей, чтоб заблудились, потешиться над нами да и погубить.

- Ой, да ну тебя! Чего пугаешь!

- Мчатся бесы, вьются бесы, невидимкою луна...

- У нас даже луны нет.

В полном безмолвии падали и падали снежинки, каждая величиной с головку одуванчика. Снег был настолько невесом, что поднимался даже от того движения воздуха, которое производили шагающие ноги двоих путников – поднимался, будто пух, и, клубясь, растекался по сторонам. Невесомость снега внушала обманчивое впечатление, будто всё лишилось своего веса – и земля под ногами, и ты сам. Позади оставались не следы, а борозда, как за плугом, но и она быстро закрывалась.

Странный снег, очень странный.

Ветер, если он возникал, был и не ветер даже, а лёгкое веяние, которое время от времени устраивало кутерьму вокруг, отчего окружающий мир уменьшался настолько, что становилось даже тесно. Впечатление такое, будто оно заключены в огромное яйцо, в пустую его скорлупу, наполненную рассеянным светом извне – этот свет сгустками, хлопьями падал и поднимался, кружил так и этак..

2.

- Царевич, а что это у меня в ушах тиндиликает? – озабочилась Катя и потерла свободной рукой одно ухо, потом другое.

«Тиндиликало» и у него, сначала слабенько, но вот всё явственнее. Звук этот раздавался в ушах, приплывая откуда-то и потом опять уплывая.

- Ой! – вдруг вскрикнула она. – Смотри-ка, кто это?

У ног её в снегу крутился пушистый зверёк... это был котёнок! Самый что ни на есть домашний котёнок со смышлёной мордочкой и будто одетый в рыжую шубку и черные чулочки. Катя присела и погладила его.

- Откуда ты взялся? Заблудился, бедненький... Ну, иди ко мне.

А он выскользнул из её рук, подбежал к Ване, потёрся об его ноги, явно обрадованный тем, что встретил людей в этой снежной кутерьме. Но едва тот нагнулся, чтобы взять его на руки, котёнок, выгнув спинку, отпрыгнул в сторону, сердито фыркнул и тотчас пропал в снегопаде.

- Ну, Дементий! Зачем отпустил? Он же погибнет!

- Царевич, - опять поправил он и напомнил. - У меня сорок умов. И вот что я тебе скажу: этот зверёныш не из тех котят, которые могут заблудиться. Он тут вовсе не страдалец, а злоумышленник, и встретился нам тут не зря.

- А зачем?

- Думаю, его к нам подослали...

- Кто?

- А вот эти, - он неопределённо повёл рукой вокруг. - Он тут при деле, исполняет чью-то волю. Агент влияния.

- Ой, да ну тебя!

- Это превращенец какой-то, а вовсе не котёнок. Точно говорю!

Что происходит? Как всё это понимать? Что за нелепица совершается вокруг?

После неожиданной встречи с котёнком они уже нерешительно двинулись вперёд... впрочем, вперёд ли? Ну, не назад же!

- Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, что делать нам? – бубнил Ваня, оглядываясь вокруг. – В поле бес нас водит, видно, и кружит по сторонам.

Из снежной замяти вдруг вышагала им навстречу сильно согнутая старушка; она шагала бойко, при этом легко отмахивала деревянным посошком. Платок на ней был повязан низко, до самых бровей, а поверху накинута толстая шаль, укрывающая и плечи, завязанная на спине узлом.

Старушка не сказала им ни слова, только переложила посошок из правой руки в левую и перекрестилась, при этом глянула на Ваню – глаза зоркие, цепкие. И вот что странно: и облезлый воротник старухиной шубейки, выглядывавший из-под

шали, и сама эта шаль обметаны инеем, как в сильный мороз. А откуда быть крепкому морозу при мягком-то снегопаде?

- Бабушка! – крикнул Ваня ей вслед.

Он хотел спросить, не заблудилась ли она и верно ли идут они с Катей, то есть он знал, но лишний раз увериться не помешало бы.

Старушка, должно быть, не услышала, потому не остановилась, не оглянулась и скрылась за падающим снегом. Эта нечаянная встреча еще больше озадачила и насторожила Ваню.

- Царевич! Ты что, остолбенел?

- Где-то я её встречал раньше, - сказал он сам себе, напрягая память,

Но не вспомнил. Какая-то мысль, будто птица, витала над его головой, готовая сесть ему на темечко. Мысль эту надо было поймать, то есть найти ей словесное выражение – она неслась в себе разгадку всего происходящего: и снега, и этих нечаянных встреч.

3.

В движущейся пелене снега видимость – не более, как на десяток шагов. Неужто так до самого дому идти? Ладно бы налегке шагать, а то ведь в сумке вместе с книгами шесть буханок хлеба. Или семь? Нет, шесть сегодня. А бывает и по десять. С такой ношей не попрыгаешь.

Почти каждый день напутственный стон ему вслед, когда отправляется в школу:

- Хлебушка, Ваня, принеси хоть буханочку.

Он догадывался, что у каждого из просителей на уме: мол, ты у нас дурачок, тебе, мол, все равно, что с ношей, что с пустом. Он на то не обижался. Пусть думают вольно, что ни взбредёт им на ум, лишь бы живы-здоровы были.

В магазине села Воздвиженское, кроме хлеба, есть мука и крупа, но это нынче только по талонам, вермишель и соль тоже по талонам. Вот он и отоваривает всю свою деревню. Кому откажешь! Старики да больные в Лучкине, инвалиды да калеки: безногий Митрий Калошин с грузной и всегда недужной женой, сестра его Ольга-горбунья, тетя Анна Плетнева, восьмидесяти лет от роду, тетя Настя Махонина немного ее помоложе, да хромая Веруня Шурыгина с выводком своих, трое у нее, от трех до пяти лет – тоже хлебоеды еще те! А если им криночку молока на стол поставить, так они покроша и со всей буханкой могут управиться.

Ну, и для себя тоже... Мать пойдет корову доить – Милашка и молока не отдаст, если не угостишь ее хлебной корочкой. А овцы так и торкаются, так и торкаются в ладонь... Даже кошка

Ведьма хлеб лопают – раньше не ела, теперь только дай, словно поняла, что с хлебом перебои, уж и хлеб становится лакомством: перестройка идет в государстве российском.

А то еще просят лучкинские принести пряников или печенья, или даже конфет, и сколько ни объясняй, что нет в сельском магазине ни того, ни сего, не понимают. Неурядица в государстве! Что-то вроде революции...

У Кати Устьянцевой в Пилятицах есть магазин. Правда, хлеб туда привозят только два раза в неделю. Но она вот в сумке хлеб не носит, идет налегке.

4.

Пора бы уже дойти и до леса, за которым и Лучкино, и Пилятицы, но вместо заснеженных елей из снегопада выступил к ним обгорелый сарай, потом колодец с деревянным барабаном-воротом,

- Эва куда нас занесло! – озадаченно сказал идущий впереди. - В Починок.

- Надо было правей забирать, - наставительно сказала ему Катя. – Мы не по тому проселку пошли.

На пути их встала ветла с дуплом огромным, как дверной проём.

- Разве в деревне этой есть такая ветла? – спросила Катя.

- Что-то я такой не помню, - озадаченно отвечал он.

Тут выступил к ним из белой снежной пелены дом, какого в Починке и вовсе быть не должно: большой, с четырёхскатной крышей, с крыльцом посреди фасада; над крыльцом была прибита широкая доска с выдолбленной в ней надписью «ХАРЧЕВНЯ». Чудеса в решете... Мало того, на них из окна смотрела полнолицая молодая женщина, смотрела с удивлением: откуда, мол, вы взялись? А сама она откуда взялась? В Починке такой жительницы нет, не говоря уж про «Харчевню».

Озадаченные, прошли мимо: что за селение такое?

И все-таки это была деревня Починок: вот же излука речушки небольшой и вётлы по её берегу... вот четыре старые березы перед домом Паши Кубарика.

В деревне Починок по зимам живёт всего один человек – как раз этот Паша, потомственный гармонист и потомственный пастух. Деревенька стоит на живописном месте – и лес рядом, и речка в крутых берегах. Сюда летом охотно приезжают дачники, они тут все дома скупили, но по осени городские эти жители покидают деревеньку до весны, а самые ценные вещи свои ради сохранности свозят в Пашин дом, потому у Кубарика зимой штук пять телевизоров, столько же холодильников, кресла да диваны. А в подполе банки с компотами да вареньями.

Забогатевший вдруг Паша живёт, не тужит; коли идёшь через деревню – из его дома слышны звуки гармошки или балалайки. Он даже сочинил пару песен... впрочем, он называл это романсами.

*Может быть, этот дом – мой последний приют,
Потому его окна глядят на закат.
Иль проклятые думы меня в нём убьют,
Или грусть сокрушит. Доконает тоска.
Может быть, этот свет из закатных окон
Просияет к исходу последнего дня,
И вовеки веков будет памятен он
В мире том, где Господь ожидает меня...*

Вот так, совсем даже неплохо.

Другой его романс был о любви, как ему и полагается быть:

*Вот и рухнули снова пролёты моста,
Что я строил к тебе, моё счастье.
И чисты мои помыслы, совесть чиста,
Но, увы, одолели напасти.
Потому так печально и грустно, хоть плачь,
Сердце ноет – и охай, и ахай,
Словно чернобородый, румяный палач
Ждёт меня пред дубовою плахой.
И не тронет ничей умоляющий плачь
Злое сердце под красной рубахой...*

Тоже неплохо... особенно если принять во внимание мастерскую игру на гармонии, да и на балалайке тоже.

Но нынче что-то молчалив Кубариков дом. На дверях замок. А то неплохо бы поинтересоваться, откуда в деревне появилась «Харчевня» с молодой женщиной в окошке.

Далее путь был знаком: по изгороди огородной, по выгону в сторону леса. Теперь-то не заблудишься. Вскоре вышли и на тот проселок, что ведёт в сторону Лучкина и в Пилятицы.

5.

Впереди за движущейся снежной пеленой проступила тёмная полоса, потом показались ольховые кусты, стоявшие стеной. За ними вплотную лес еловый. Тут уж не заблудишься: идёшь, как в ущелье, между заснеженными высоченными соснами да елями, стволы ближних деревьев видны довольно отчетливо, а вершины терялись в белой мгле.

На поляне, им давно облюбованной, он остановился, сбросил со спины сумку, досаждавшую ему:

- Давай отдохнём. Садись на то пёнышко.

Он всегда присаживался тут, шагая в школу или обратно. Затеял маленький костерик. Звук обламываемых сучьев не раздавался громко, а будто увязал в падающем снеге, как в вате. Не тихо было, а глухо.

- А ведь видел я где-то эту старушку! – сказал вдруг Ваня, заволновавшись. – Видел!

- Какую?

- А вот что с посошком нам попалась. Какой-то у меня с ней разговор был. Она ведь меня узнала...

- Ну, узнала, и что? Не бери в голову.

- Нет, всё не так просто... Кто-то иной в таком облике...

- Ой, да ну тебя, Дементий! Пойдём домой.

Но костёр так славно разгорелся! Ваня бросал в него тоненькие сухие прутики, огонь карабкался по ним, как живой. И снежинки были живые, они шипели, бесстрашно опускаясь в него и погибая в нём. Катя с затаённой улыбкой наблюдала, как он ловил снежинки на руку, разглядывал их, пока они таяли. На лице Ивана-царевича, обезображенном шрамами, было забавное выражение – младенческое любопытство и этакий исследовательский интерес одновременно. Катя закрылась варежкой, чтоб удержать смех.

Он отвлёкся мыслями и вспомнил о Кубарике.

- Знаешь, Паша мне в прошлый раз спел романс собственного сочинения. Надо бы записать слова... Там у него так:

Я на лобное место всхожу, как на трон,

И стою, и смотрю без боязни

На дубовую плаху, на стаю ворон,

На мерзавцев – вершителей казни.

А в глазах у толпы мне укор-приговор,

В нетерпенье толпа замирает,

Словно я для неё и убийца, и вор,

А мой ангел грехи мои знает.

Но взлетает, как птица, разящий топор

К небесам, где мой Бог обитает.

Ваня уже напевал... Спутница слушала его с улыбкой.

- А что, неплохо, - одобрила она. – Неужто он сам сочинил? Врёт, небось. Что-то уж слишком грамотно.

- Сам. Каждый культурный человек должен уметь и песню сложить, и стихи сочинить.

- Я вот не смогу, - вздохнула Катя.

- В исполнении Кубарика да под гармошку... я был восхищён, чём и поведал ему.

- Рыбак рыбака видит издалека, - сказала Катя и усмехнулась.

- Небось, хотела сказать: дурак дурака... Так?

Она не успела ответить ему - неподалёку вдруг прокуковала кукушка! Они вздрогнули оба и переглянулись. Кукушка замолчала, но снова пожалала голос, а ей откликнулась другая. И замолчали обе. Зато комар прилетел, запищал гневно.

- Уж больно ты грозен, как я погляжу, - Ваня хлопнул себя по щеке. - Мы так не договаривались, чтоб комарам при снегопаде летать.

- Да и кукушкам куковать тоже, - добавила Катя.

Комар благополучно избежал смерти, улетел, обиженно гудя.

- Опять тиндиликает, - пожаловалась Катя, прижимая к ушам ладони.

Они замолчали, прислушиваясь, недоумевая: в лесу опять раздалось кукование. Но эха не было, и голоса кукушек, один нежный, другой настойчивый, трубный, глохли, как в вате.

6.

Приближающийся топот копыт и фыркание лошади заставило их обоих обернуться: совсем близко, краем поляны, наперерез к дороге, двигались неясные силуэты верховых. По мере приближения они проступали из белой мглы, как на фотобумаге, - в шинелях, головы укрыты башлыками; у каждого винтовка за спиной, шашка на боку... Слышен был капустный хруст снега под копытами передних коней, бодрое пофыркивание их, сдержанный говор и смех всадников; позванивали удила.

Впереди бок-о-бок ехали двое офицеров; у одного из них лицо румяное, круглое, почти мальчишеское, а другой явно постарше, с усами, темляк его шашки был желтым, в цвет погон.

И опять удивило Ваню то, что не по нынешней погоде обметало инеем морды коней, башлыки и усы и даже брови верховых. Почему им так студено в эту мягкую погоду с легким снежком?

- Вашблародие! - крикнули сзади. - Надо правей забирать, иначе угодим в Куркино болото, оно и зимой дышит.

Старший офицер обернулся на этот голос, и Ваня на мгновение ясно увидел его лицо - это было лицо именно военного человека: оно отражало давнюю привычку отдавать приказы и выслушивать доклады об их исполнении; прищуренные глаза офицера смотрели строго и высокомерно. Кажется, он заметил сидящих у костерка, но внимание его отвлекли.

- Господин поручик, - сказал баском тот, что ехал рядом, - у вашего Калистрата правая передняя на серебряной подкове, потому шаг легче, шире, чем у левой, вот мы и забираем все время в ту сторону.

Он как бы подлаживался под дружеский тон, и все-таки сбивался на почтительный. А тот, кого назвали «вашблагородием» и «поручиком», холодно улыбнулся, дернул поводья рукой в коричневой замшевой перчатке, конь его пошел рысью – конь рослый, серой масти, с пятнами-«яблоками» по всему корпусу, в черных чулках и с широкой траурной прядью в гриве. Прибавили ходу и прочие верховые, держась по двое друг за другом. Передние уже скрылись, заворачивая вправо, а задние только проявлялись из белого снежного пространства.

«Куркино-то болото осушено давно, - подумал Ваня. – Там теперь просто поле, его пашут и засевают. У них устарелые представления о местности».

- Кто это, Дементий? – прошептала Катя.

Он сделал знак рукой: молчи, мол. Но их уже не могли слышать: последние всадники скрылись за снежной пеленой, топор и треск затихали в лесу.

- По-моему, они из той же оперы, что и котёнок, - сказал Ваня сам себе.

Там, где скрылись всадники, послышался вдруг резкий хлопок выстрела и еще два торопливых; раздались крики... Пуля – вззину! – разъяренной пчелой пропела у него над головой.

Ваня уже стоял, взволнованно глядя в ту сторону. Снова послышался выстрел, – срезанная пулей веточка сосны упала возле них.

- Наверно, кино снимают, - пробормотал он. – Но на фиг нам такое кино!

- С ума они, что ли, сошли! – возмутилась Катя. – Тут же люди живые!

Он поднял упавшую веточку - черенок у нее был не сломан, а раздроблен – материальное свидетельство каких-то нереальных событий.

- Быстро уходим! – приказал Ваня, скидывая сумку за спину..

Они торопливо зашагали в белую мглу. Катя едва поспежала за ним.

Ни выстрелов, ни криков больше не последовало. Когда отошли довольно далеко, остановились, прислушались: нет, тихо. Да и были ли те всадники? Может, просто померещились? Но... веточка сосновая еще была у него в руках.

Катя шагала теперь рядом с ним.

- Это белогвардейцы, Дементий, - сказала она убежденно. – У офицеров погоны золотые. У старшего золотой крестик на груди, когда он вынимал портсигар. Наверно, Георгиевский крест, а? За храбрость.

- Не вынимал он портсигара!

- Но я же видела! Он хотел закурить, но тут, вроде бы, заметил нас, удивился... а его окликнули. Наверно, ты в эту минуту смотрел на других.

Снег падал по-прежнему, тихо и неостановимо.

- Ты испугался, Дементий? Признайся, ты испугался.

- Я побледнел... и хочу к маме.

- Не бойся, Сороконожкин, я с тобой.

Что-то не к месту и не ко времени она развеселилась. У него же не выходило из головы, как «ваше благородие» посмотрел на него высокомерным взглядом... и конь Калистрат, позванивающий удилами... и вот она, веточка, - свидетельство того, что случившееся не померещилось.

7.

- Дементий, ты умеешь отличить белогвардейскую форму от иной?

- Видел в кино. «Адъютант его превосходительства».

- Вот я и говорю... У них натурные съёмки идут. Только почему они стреляют, да ещё и настоящими пулями? Это ведь опасно... для мирных жителей, вроде нас. Ведь поля могла бы попасть в тебя или в меня.

Теперь и он развеселился, а потому бодро запел:

- Здравствуйте, барышни!

Здравствуйте, милые.

Съёмки у нас, юнкеров, начались.

Взвейся, песнь моя, любимая

Буль-буль-буль, баклажечка зелёного вина.

Оборвав пеньё, пояснил:

- Героика и романтика военных – выпить, закусить, пострелять... ну и портсигаром щелкнуть перед барышнями. Им всегда нравились военные

- Ну да, мне понравился... тот, который помоложе. Который сказал про серебряную подкову у Калистрата.

Ваня ей насмешливо:

- Эполеты, аксельбанты, шпоры,

Портупейный скрип и блеск погон

На святой Руси красавиц гордых

Волновали, братцы, испокон...

Кстати сказать, это были его собственные стихи, сочинённые по другому случаю и не так давно.

Выйдя из леса, они опять потеряли дорогу, но счастливо наткнулись на заржавленную сеялку, стоявшую как раз в том месте, где просёлок раздваивался: налево – в Пилятицы, направо – в Лучкино. Сеялка стояла тут с незапамятных времен, сломалась однажды, тут её и бросили.

А дальше им было не по пути. Он остановился, пошатнулся и упал в снег, словно подстреленный.

- Ну, Дементий! – сказала Катя, встав над ним. – Ты чего?

- Вроде бы, понимала, что он шутит, но в то же время и встревожилась. Ваня лежал недвижимо

- Дементий!

- Прощай, - произнёс он слабым голосом смертельно раненого. – Спасайся сама... Передай нашим... что я честно погиб... за рабочих.

- Я давно подозревала, что никакой ты не Иван-царевич, а просто Иван-дурак, - уже рассердясь, сказала она. - Ну и оставайся тут, замерзай, как ямщик.

- У меня в сумке шесть буханок хлеба, - сказал он тем же слабым голосом. – Хватит недели на две. Сухой бы корочкой питалась, и тем довольная была.

- И не смешно вовсе, и не остроумно.

- Я хочу раствориться в этих снегах...

- Смотри, царевич! – воскликнула вдруг она изумлённо.

Как раз возле колеса ржавой сеялки вытаял холмик с зеленой-зеленой травой... и в этой траве несколько цветков – луговой василек, две ромашки, дрема. Цветы совсем не чувствовали холода, потому что над холмиком был горячий летний полдень – именно так! - даже шмель тут жужжал.

- Не трогай! – успел крикнуть он, вскакивая.

Но она уже протянула руку, и снег, окружавший холмик, с легким шорохом обрушился, скрыв под собой маленькое лето. Катя жалобно пискнула, стала разгребать снег, да где там! Пропало всё.

- Утомила ты меня, - рассердился он. – Думай сначала, а потом делай! Ты не ребёнок по третьему годiku, чтоб срывать каждый цветок.

- Я нечаянно, - виновата оправдывалась она.

- У вас очень плохое воспитание, барышня, - продолжал он, смягчаясь. - В какой семье вы воспитывали? Кто ваши родители?

На этот раз она не обиделась.

- До свиданья, царевич!

До Пилятиц тут уже недалеко. Она тотчас скрылась, и из-за снежной пелены донеслось:

- Не плачь обо мне, царевич! Мы ещё увидимся!

- Дома будешь, в сенях посмотри внимательно в угол, отозвался он.

- Зачем?

- Там шевелится кто-то.

- С чего ты взял? – голос Кати звучал уже с испугом.

- Я свои кадры знаю!

- Дурак ненормальный, - было ему ответом.
Значит, испугалась не на шутку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

Тишина томила и угнетала Ваню Сорокоумова во сне, будто изба за ночь опустилась в неведомые глубины, подобно кораблю, потерпевшему крушение. Впрочем, иногда эту тишину нарушало странное сочетание звуков: скрип снега под чьими-то ногами и звон отбиваемой косы... визг санных полозьев и щебет ласточек... тонкий звон льдинок в студеной проруби и жужжанье шмеля...

А проснулся он оттого, что вокруг слишком тихо, прямо-таки неправдоподобно тихо. Какое теперь время в ночи – не понять. Может, уже утро? Привстал с постели, пощелкал выключателем – свет не зажёгся, и радио молчало, сколько ни тормозил его. В доме был транзистор, но куда-то запропал, поди-ка найди в такой темени. Да и что его искать, коли в нём батарейки сели две недели дней назад!

В темноте босиком прошлёпал Ваня по холодному, почти ледяному полу до стены, где часы-ходики, - гиря достигла самого нижнего положения и почти легла на лавку. Поднял гирю, толкнул маятник – мерное, хрипловатое *тик-так* зазвучало в тишине беспомощно и жалко. Ну, коли темно, рассудил он по-умному, значит, ещё ночь.

Опять нырнул под одеяло, даже успел уснуть и услышал чей-то строгий, взыскующий голос:

- Иван! Ты ведашь ли? Великие снега легли... беда!

«Ведашь, - передразнил спящий. – Эко несчастье – снег. Не впервой».

- Вставай, Иван-царевич!

Кто-то хихикнул там, во сне:

- Да он дурачок, Ванька-то, хоть и с умной фамилией! Али не знаете? У него мозги всмятку! Он же нынче летом навернулся с моста со своим мотоциклом.

- Кем себя назовёшь, тем и прослывёшь, - отбивался во сне спящий. – Сказано: Иван-царевич. Так тому и быть.

А в яви вошла мать со двора, посвечивая керосиновым фонарём.

- Вань, вставай!

Голос тревожный.

Электричество гасло в Лучкине по разным причинам: где-то столб повалился под порывом ветра, то на провода вороны

сядут и тяжестью своей оборвут их, то просто отключит кто-то по своей прихоти.

Керосиновый фонарь всегда был в обиходе – он уж помят, заржавлен, а всё служит. При свете его видно: возле подпечка сидит и умывается мышь, при этом посматривает на хозяев дома очень смышлёными глазами-бусинками. Умывалась и мышиная тень, перемещаясь по полу согласно покачиваниям фонаря.

- Эт-то что такое? – опешила Ванина мать - Маруся - и топнула ногой. – А ну, брысь!

Мышь посмотрела на неё укоризненно и юркнула за валежок у печи.

- Ведьма-то куда наша глядит?

Кошку звали Ведьмой за то, что она никогда не ночевала дома, по ночам гуляла («шлялась» по выражению Маруси) во дворе и по чердаку, уходила и к телятнику, что на околице, и к омету яровой соломы. Теперь же она мирно спала на голбце, от света закрылась лапой, на мышиные проказы и ухом не вела.

- Я дверь наружную не смогла открыть, - озабоченно сообщила Маруся. – Привалило снегом.

Стало слышно, что неподалёку кто-то колет дрова... вроде бы как у соседей. Но ведь рядом не живёт никто! Раньше соседями были Тарцевы – двое взрослых и двое детей; теперь их нет, уехали и дом свой увезли; а изба Сорокоумовых уже на особицу стоит. Да что! Теперь в Лучкине каждый дом на особицу. А слышно ясно, что именно у соседей топор ахает, поленья гремят, бросаемые чьей-то рукой... доносилось же это как бы через стену, а не через окно.

- Блазнится нам, - сказала Маруся, успокаивая себя и сына. – Всё утро так... то корова чья-то мычала, то куры кудахтали, то вальком по белью колотили у ручья.

- А сейчас утро?

- Раз Ведьма спит, значит, утро. Да и корова у меня настрадалась не доенная. Вышла я к ней, а она чуть не человеческим голосом... ругаться. Проспали мы долго... однако же ишь, темь какая.

Ваня оделся, на ощупь через сени вышел на крыльцо, толкнул рукой наружную дверь – та не поддавалась; двинул плечом – скрипнула и отошла лишь чуть-чуть; во всей этой щели по притвору сверху донизу – только снег.

- Я уже пробовала через черный ход, там и вовсе крепко привалило, - сказала мать из сеней.

Вдвоём налегли на дверь и кое-как отжали – стена плотного снега была перед ними, хоть нарежай его ломтями, плитами, кирпичами.

А по улице между тем телега ехала... явственно слышалось, как лошадка ступала по пыльной дороге – именно по пыльной! – а возница совсем рядом с ними причмокнул, лениво сказал: «Н-но!» – телега загрохотала колёсами и, удаляясь, затихла.

Ваня оглянулся на мать: слышит ли? Маруся слышала, но её больше заботило другое:

- Печь не растоплю никак – дым не идёт в трубу: знать, её тоже снегом забило. Полежай-ка ты, Вань, проверить надо...

2.

К чердачному окну тоже плотно прилегал снег. Ваня отогнул гвозди, вынул раму; окошко тут небольшое, едва протиснулся сквозь него на карниз, при этом всё более и более озадачивался: казалось, только отпихни эту снежную стену, и она отвалится – откроется изба старушки Анны Плетнёвой за дорогой и вся деревенская улица; но рука уходила в толщу снега и не чувствовала далее свободного пространства.

Мыслимо ли, чтоб завалило по самый князёк?

По карнизу протиснулся Ваня к углу; здесь прибита к стене жердь - антенна телевизионная. Пошатал её – нет, не качалась она, снег держал её вверху. Что за чудеса в решетке! Выбрался на крышу и по князьку почти ползком стал проталкиваться к трубе, вжимая голову в плечи, чтоб снег не попадал за ворот. Шапку потерял – едва нашёл в снежном месиве. Но сзади оставалась круглая нора – снег был очень рыхлым и сыроват, не осыпался.

Возле трубы растолкал себе пространство, встал во весь рост – думалось, едва выпрямится, голова непременно выломится на волю, и откроется небо, а на нём солнце или по крайней мере звёзды или облака. Но... даже когда руки поднял над головой, они не достигли свободного пространства и остались в снежном плену.

В удивлении и растерянности даже сел на трубу. Глупые стишки пришли в голову: «А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало... Кто писал не знаю, а я, дурак, читаю...».

А между тем совсем рядом летали ласточки... этак словно бы ветром наносило их щебет. Прощебечут, словно бы пролетая мимо, – и опять не слышно. И снова прощебечут.

«Если бы лестницу, - соображал Ваня. – Поставить её здесь, на крыше, торчком, и по ней вверх...»

Он спустился тем же путём. В сенях долго вытрясал снег из валенок, из рукавов, из-за ворота; оснеженной шапкой хлопал себя по бокам, по плечам; смахнул с мокрого лица налипший снег.

- Ну, что? - спросила мать, появляясь со двора с охапкой дров и с фонарём. – Закупорило нас?

Она произнесла «закубрило».

- Сейчас, сейчас... - отозвался он. – Потерпи маленько.

О том, что снегу наверху навалило выше трубы, не сказал: зачем пугать! Вот проделает ход наверх, разберётся, что же, собственно, случилось, тогда можно и матери объяснить ситуацию. Но сначала надо хоть немного расчистить пространство вокруг дома, а то ведь и лестницу на крышу не поднимешь! Да и вообще чем больше простору, тем легче дышать и бодрее на душе.

Деревянной лопаты в хозяйстве Сорокоумовых не было, Ваня орудовал железной, а ею удобно взрезать снежный пласт, но распахивать по сторонам совсем несподручно. Впрочем, любая лопата не годилась в этом деле. Гораздо скорее просто расталкивать снег плечами, спиной, боками – он и тут был слегка сыроват, не осыпался, только вкусно хрустел.

- Что за напасть такая! – слышно причитала Маруся, пробиваясь вдоль крыльца ко двору. – Завалило... Вот так расскажешь кому потом – не поверят. Подумать только – занесло снегом по самую крышу! Виданное ли дело!

«Если бы только по крышу!» – чуть не сказал ей сын.

Откуда-то вдруг приплыли мерные, тягучие удары в колокол. Они прокатывались в снежной толще свободно, подобно порывам ветра в чистом поле.

- Господи, что это? – сказала Маруся себе самой и перекрестилась.

Удары колокола с рокотливой скорбной дрожью как бы уходили в глубь земли или, напротив, поднимались к небу и звучали дольше и торжественней. Колокольный звон постепенно ослабевал и, наконец, затих вовсе.

Маруся ушла в дом, и Ваня с улицы через боковое окно увидел, как она зажгла там перед иконами лампаду. С тех пор, как с ним случилось несчастье – упал с мосточка вместе с мотоциклом и чуть не убился насмерть – она стала богомольна, вот и иконы появились в переднем углу, и лампада эта.

3.

Ему удалось поставить вертикально возле трубы лестницу. Там, вверху, она, вроде бы, уже высунулась из снега, но стал подниматься – нет, не высвободился из плена! Это что же, хоть на километр вверх – всё будет снег и снег?

«Мы так не договаривались!» – возмутился Ваня.

Но вот ступил на последнюю перекладинку лестницы – голова выломилась из снега на волю, и тотчас резкий ветер

хлестнул по глазам. Загораживаясь руками и жмурясь, Ваня крутил головой; вокруг не было видно ничего, кроме белой равнины и летящих над нею белых вихрей, снежных потоков, струй. То есть простиралось во все стороны ровное поле, по которому мела буйная метелица, и не было поблизости ни деревенских крыш с трубами, ни верхушек деревьев, ни даже телевизионных антенн... Не было и низинки, в которой течёт неугомонный Вырок; исчез и Селиверстов холм, заросший кустами, и его сровняли; не видно и леса ни с одной, ни с другой стороны – ничего, только снежные языки и змеи, в бешеном стремлении летящие рваные облака, похожие, между прочим, на дым всеобщего пожара. За облаками изредка появлялся будто бы остывший и потому голубоватый диск солнца.

Спасаясь от ветра, Ваня поспешно спустился вниз. Некоторое время постоял у трубы, дую на озябшие руки и потирая лицо, озадаченный и растерянный; потом снова поднялся по лестнице, высунул из норы голову и огляделся ещё раз, хмурясь и заслоняясь рукой от злого ветра. Нет, ничего он опять не увидел, кроме движущегося снега да серых облаков вверху, да холодного и словно бы заиндевелого солнца. Панорама была жуткая.

Страшная догадка пронзила его, будто электрическим током; опрометью кинулся он вниз, съехал по крыше, весом своего тела пробил снежную толщу до самой земли, тотчас протолкался к тесовому крыльцу, на ощупь, как слепой, отыскал входную дверь, залепленный снегом с головы до ног вбежал в избу.

- Это ты, Вань? – спросила мать в испуге.

Он не ответил. Включил радио на стене, – оно по-прежнему молчало. Ясное дело: причина не в обрыве или замыкании проводов, а в том, что некому говорить по радио! Некому! Вся земля занесена снегом, от арктического Севера до антарктического Юга. Замерзли реки и озера, покрываются льдом моря, в непролазном снегу тонут города; нет электроэнергии, поскольку замкнуты провода электролиний; не работают и радиостанции; остановились на дорогах поезда, замирают в последних конвульсиях заводы и фабрики... Ветер, морозный, мертвящий все живое, гуляет по земному шару, перегоняя тучи снега с места на место, выравнивая, выглаживая поверхность.

Планета ли Земля сорвалась с солнечной орбиты и удаляется в глубины космоса, выгорела ли ядерная топка самого Солнца, и оно угасает – причины тому могут быть разные, но результат вот он: наступила вечная зима... вселенские снега легли.

Неужели так? Неужели так! Неужели так...

Маруся села рядом с ним. Он молчал, и это было тягостное молчание. Кажется, она понимала, что произошло...

Откуда-то как бы с поля послышались возбужденные восклицания «Ать! Ать!» и конский топот, и еще азартный крик. Нелепица эта почему-то приободрила их: все-таки люди рядом! Затихло было все, но опять послышалось «Ать! Ать!» и выстрел, и радостный собачий лай.

Мать посмотрела на сына вопросительно.

- Сосед мой поспешает в окрестные поля с охотой своей, - вроде бы, пояснил он. – И страждут озими от бешеной забавы, и будит лай собак уснувшие дубравы...

- А я давеча вышла в сени и слышу: едет мимо нас – вот совсем рядом! – санный поезд, - стала рассказывать Маруся, почему-то понижая голос до шёпота. – И колокольцы звенят, и лошадки ногами по снегу ступают, и гармонья играет, да и не одна, а две или три, и народу много, свадебные песни поют... Смеху-то у них сколько! Веселье-то какое!.. Но все это словно ветром доносило: то слышно, то нет.

Мать с надеждой посмотрела на сына. При свете фонаря лицо его показалось ей лицом очень взрослого человека, словно не семнадцать лет ему, а уж под тридцать. Он был очень серьёзен.

- Ты что-нибудь понимаешь, Вань?

- Я отказываюсь понимать эту нелепицу, - отозвался он.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

1.

Наискосок от фасадной стены он стал пробивать ход к колодцу. Знал, что тропинка пройдет мимо толстого тополя, стоящего как раз на углу палисадника. Но вместо этого дерева попало на пути ему тележное колесо. Не бросовое колесо, ходовое, словно бы только что с оси – втулка смазана свежим дегтем. Недоумевая – откуда взялось? – Ваня откатил его в сторону и продолжал торить ход: сначала прорезал лопатой неширокую щель впереди, потом распахивал снег по сторонам. Еще один тополь, молодой, не такой толстый, что в палисаднике, был левее, а если в правую сторону, то окажешься у столба электропередачи; тут и камень, на котором хорошо точить топор. Добрался как раз до этого камня, когда сзади кто-то сказал: «Тпру» и послышался стук и скрип. Ваня вернулся к тому месту, где только что нашел колесо, но его уже не оказалось, исчезло. Следов никаких не было, но снег тут немного осыпался.

- Что за фокусы? – пробормотал он, стоя на этом месте.

Оглянулся в сторону своего дома, опять посмотрел на снежную осыпь... Да что, смотри не смотри, понятней не становилось. Махнул рукой, стал торить дальше.

Тропинка поднималась на небольшое возвышение – тут колодец. Ваня старательно обмял его со всех сторон, заглянул в черноту сруба. Колодец этот – с журавлем: длинная жердь через прорезь в крыше вертикально уходила вверх, а наклонной жерди не видать, как не видно и столба с развилиной, в которой она укреплена – это все в снегу. Отцепил от железной скобы нижний крюк с ведром, стал тянуть вниз. Журавль в снежном плену сопротивлялся; повисая всем телом и рискуя провалиться в колодец, Ваня спустил ведро до того положения, когда оно плеснуло вниз. Ну, вот, все в порядке, можно идти по воду.

Он посидел на колодезном срубе, отпыскиваясь. Над потоком обычных мыслей, которыми сопровождалась вся эта работа, вопросительно и немо стояла главная: так что же случилось в мире? Ответа не было, а была тревога, с которой не совладаешь.

Слабый, очень слабый свет просачивался к колодцу и сверху, и со всех сторон. Сумеречно было, однако же можно кое-что различить: вот крыша над колодцем, вот сруб, вот ход к дому...

Поблизости, слышно, отворилась скрипучая дверь, и густой мужской голос проговорил:

- А хочешь в избе поморити сверчки да тороканы, набери обутков старых худых... и те обутки высуши... да как изба истопится, набросай в печь на жар.

- Обутков! – перебил другой голос. – Киндяки да козыреи бархатны кинь на жар – паморок торокану!

Дверь хлопнула и оборвала вспыхнувший мужской смех.

Ваня сидел онемело, весь обратясь в слух, - небось, именно от такого напряженного слушания у зайцев отрастают длинные уши. Кто сейчас говорил про худые обутки? Чья дверь хлопнула так явственно? Ведь рядом с Сорокоумовыми никаких строений нет – только Аннина изба, да и она за дорогой; а эти-то разговаривали совсем рядом, словно в пяти-шести шагах. Откуда быть мужским голосам, да ещё произносящим столь странные слова, неведомо что означающие – киндяки, козыреи?.. А может все-таки у Анны гости?

2.

Он стал торить ход к её дому, а навстречу словно ветерком доносило музыку – похоже, радио у старушки играло. Это что же, у Сорокоумовых молчит, а у неё играет?

«При всех моих сорока умах понять ничего невозможно», - сокрушённо подумал Ваня.

Лопата, которой он орудовал, стукнулась о поперечную жердь изгороди – это уже Аннин палисадник. В нём берёза высоченная, кряжистая, которой не видно теперь за снегом, но Ваня знал, что на ней уже много лет висит почерневший от времени скворечник – вот из скворечника-то, вроде бы, и раздавалась музыка. По крайней мере так казалось.

Вдоль жерди пробился он к углу дома, и тут удивлён был немало: в заснеженном окне горел свет! Ваня расчистил стекло vareжкой, заглянул: хозяйка сидела за столом и что-то говорила. Перед нею стояла керосиновая лампа без стекла – коптилочка – рядом с которой чугунок с картошкой, миска с огурцами, солоничка и блюдечко с лужицей масла подсолнечного.

Анне до музыки из скворечника никакого дела, она её и не слышала, а занята была обычным разговором с теми, кто якобы находился рядом с нею. Как всегда, в застолье участвовало по крайней мере четверо: муж Степан Данилыч, сыновья Лёша и Рома, внук Юра, Лёшин сын. Их нет на свете для всех прочих людей, но они есть для неё, Анны.

Сам хозяин расположился, надо полагать, в красном углу, под божницей: именно к нему она обращалась, кивая на тех, что сидели, по её представлению, справа и слева от отца и от неё, Анны. Ваня знал, что на пристенных лавках Анны сидеть уже невозможно, - они сильно покосились, под них подставлены поленья. Что касается Юры, то он, судя по всему, поместился на табуретке рядом с нею. И у табуретки той ножки поломаны, но и это не смущало хозяйку. На столе перед каждым из невидимых собеседников лежало по варёной картофелине в мундире и по куску хлеба: им же предназначались и огурцы с опавшими боками в миске, и соль: они должны были макать картофелинами в блюдечко с подсолнечным маслом, как это делала сама Анна, чем и их потчевала.

Степан Данилыч пропал без вести пятьдесят лет тому назад в большой войне, где-то на Волховском фронте; сыновья и внук погибли поочерёдно в маленьких войнах, которые вела страна: старший, Лёша, сгорел в самолёте над Северной Кореей; младший, Рома, тоже погиб не на родной земле, а где-то далеко, о чём в военкомате говорили невнятно; внук Юра подрвался на mine, выполняя «интернациональный долг» – так сказал военком. Смерть мужа и сыновей Анна вынесла, хватило сил, а вот после гибели Юры маленько тронулась умом. То есть она продолжала жить по-прежнему: пока была более или менее здорова, ходила на работу, теперь же просто вела своё хозяйство (огород и десяток кур), очень даже разумно вела, но одна странность у неё появилась: Анна как бы поселила снова в

своём доме и мужа, и сыновей, и внука – вместе коротали вечера, вместе садились за стол, вместе управлялись по хозяйству. На ночь она каждому стелила постель... Нигде более не появлялись воины Плетнёвы, только в родном доме да возле него, и никому более не видны были, только ей, Анне.

А вот теперь за столом у них шёл чередом утренний завтрак со степенной беседой о делах хозяйственных: хватит ли дров до весеннего тепла, не проломится ли крыша над двором под тяжестью снега, и как быть с печью, которая дымит – потрескался бок ...

3.

И не надо бы мешать, но Ваня хотел показаться соседке, чтоб она не пугалась, узнав, что засыпана снегом. Он постучал в оконную раму. Увлеченная беседой Анна глянула в окно и тотчас выразительно и громко сказала:

- Хулиган! Вот погоди, ужотко матери пожалуюсь. Ишь, в окно подсматривает! Ни стыда у тебя, ни совести. Экой зимогор, прости Господи!

Ваня улыбнулся в ответ: Анна всегда ругалась, что бы он для неё ни делал. Пошлёт его мать: отнеси, мол, криночку молока Анне – та встречала его, несущего полную кринку, такими словами:

- Бесстыжи твои глаза, куда ты прёсся! Или я молокане едала?

Но от криночки не отказывалась. Он брался за пустые вёдра – сходить для неё за водой – старушка налетала на него, словно курица-наседка, защищающая своих цыплят, того и гляди клюнет костлявым кулачком в темя:

- Да что ты хватаешь чужое! Вот уж верно говорят, что ум у тебя отшибло. Верно, что Ваня-дурачок ты.

- Баб Анна, ну воды же тебе хочю принести с колодца! Будто в первый раз! Ты же знаешь.

- Небось, вон дров не наколешь, - отвечала она, - и хворосту не нарубишь, а выбираешь дело, которое полегче. Лень-то, матушка, раньше тебя родилась.

Он рубил хворост, колол дрова, носил охапки поленьев ей в дом, к печи, а она продолжала бранить его. Старушка немощная, но вид имела грозный, голос звучный:

- Чтоб ты черти доняли! Ишь, развоевался. Умашной какой-то парень. Небось, не твои дрова, а мои, чего раскидал тут? Разве так колют? Тебе абы как, лишь бы отбояриться.

Весной он копал ей огород, носил воду для поливки – ничто не могло унять Анну Плетневу; ворчала, грозилась «отвесить в загорбок». Это было очень смешно, а в ответ на его смех

она ругалась еще пуще. Самое сильное ее выражение: «Чтоб тебя забором обнесли!» Теперь что-то не употребила его. Ну, ничего, день длинный, еще «обнесет».

- Баб Анна! – крикнул он ей в окошко. – Завалило нас... выше крыши! Ты не пугайся, ладно?

- Чего?

- Завалило, говорю, снегом всю деревню. Выше крыши и деревьев!

- Полно врать-то, - отозвалась она, обмакивая картофелину в солоничку. – Нашел над кем шутки шутить! Ровесница я тебе, что ли! Ни стыда, ни совести у тебя, парень. погоди, ужотко я твоей матери-то пожалуюсь. Пусть она тебя поучит ремнем али скалкой.

- Лучше скалкой, - посоветовал Ваня.

- Ишь, что болтает: снегом завалило. Сами видим, что намело... Сейчас вот ребята выйдут да и разгребут. А ты, Данилыч, не ходи, они без нас справятся. Я кирпич в печке накалю, прогреть тебе поясицу-то...

Анна Плетнёва – старушка строгая. Минувшим летом, в пору его увлечения мотоциклом, как ни быстро он мчался, она никогда не уступала ему дороги. Однажды он чуть не сбил её с ног, и быть бы уже тогда большой беде. Она будто выросла из-под земли на его пути и даже не сделала попытки уклониться, только руку вскинула со сложенной щепотью. Спасло её только то, что в самый последний момент лихой мотоциклист сумел так вывернуть руль и отважно врезался в ивовые кусты, как зверь в ловчую сеть, вместе со своим мотоциклом. Мотор при этом заглох, и в наступившей тишине Анна сказала:

- Беды себе ищешь, болезный? Кто ищет – найдёт!

Ваня в ответ засмеялся, совершенно уверенный, что беды с несчастья могут случиться с кем угодно, только не с ним.

- Не бойсь, бабушка! – громко отвечал он, выволакивая мотоцикл из куста. – Кто чего боится, то с ним и случится. А кого страх не берёт, того и смерть обойдёт.

- Знамо, дуракам закон не писан, - благожелательно сказала она уже вслед ему.

Как раз в тот день пророчество и сбылось

4.

Маруся встретила сына возле колодца, вид у нее был испуганный.

- Что случилось, мам?

- Тебя не засыпало, Вань?

С некоторых пор мать любовь к нему приобрела обостренный характер – после того, как в аварию попал да боль-

нице пролежал долго, с тех пор она чуть что – уж смотрит тревожно, и у неё вздрагивают руки. Он жалел мать:

- Ты так себя измучаешь.

Два года назад отец погиб в нелепой дорожной катастрофе. Вот и ему, сыну, не повезло.

- Мы уже заплатили дань судьбе, больше с нас не потребуется, - утешал он её. – Точно говорю, мам! Так что не тревожься зря.

- А Анна? – тотчас напоминала мать. – Беда не приходит одна. Если с тобой ещё беда случится, я тоже с ума тронусь.

- На мне счастливая мета! – говорил он весело. – Знак небесного покровительства – подкова во всю филиономию! Не каждому так везет...

- Ты поосторожней, сынок, - напутствовала Маруся сына теперь, в подснежном ходу.

И то уж не просьба, а мольба. Прямо-таки крик души.

5.

Возле колодца он расчистил ногами землю, ища дорогу. и стал пробиваться по ней как раз серединой улицы деревенской, распахивая снег и лопатой, и собственным телом.

Шесть жилых домов деревни Лучкино располагались довольно далеко друг от друга; от трех десятков, некогда существовавших не осталось ничего. Нет, если провести археологические раскопки, можно найти битые черепки да дырявые чугуны, но не более того. Исчезли дома и люди с ними.

Ваня узнавал все колдобины дороги, угадывая: вот сейчас он напротив бывшего дома Петра Курочкина, первого лучкинско-го председателя колхоза. Когда-то давно, в незапамятные военные времена, с Петром случилось несчастье: по воле общего собрания продал он двух колхозных коров в городе на базаре, а потом зашел в столовую отметить удачную торговую сделку – выпил маленько, и деньги у него то ли вытащили из кармана, то ли он их потерял. Время было строгое, а тюрьма ему представлялась хуже смерти. Вернулся домой - повесился.

Вот тут был дом Матрены Мининой, замерзшей в голодном сорок первом по пути из города домой...

Вот здесь до недавнего времени стоял заколоченный дом братьев Свистуновых; им крупно не повезло, - как раз перед самой войной – посадили за анекдот: работали они по наряду на дороге – каменку выкладывали – бригада мужиков из разных деревень. Один рассказал анекдот про вождя, прочие посмеялись; на другой же день забрали и рассказчика, и слушателей – всех, кроме одного. А дом отошел вскоре колхозу, осталась только па-

мять: жили-то здесь двое веселых братьев, а куда пропали, неведомо.

Нет, не до того было сейчас, чтоб вспоминать, чем памятен в деревне тот или иной дом; Ваня просто отмечал: вот сейчас торит напротив того или этого – для ориентировки; а уж память подсказывала, как она подсказывает на кладбище, почему погиб тот, отчего умер этот.

Опять ему почудился чей-то голос. Кто-то размеренно то ли диктовал, то ли читал:

- «Опись двору умершего крестьянина Семена Кузьмина сына Вырина, учиненная в 1747 году...»

Ваня остановился, слушая.

- «Двор в деревне Лучкино, что в приходе церкви Рождества Божьей Матери... с деревянным строением, а именно: горница с комнаткою и в них два окна слюдяные и со ставнями и с запорами железными; стол дубовый; шкаф липовый; два стула липовых; в той горнице печь обращатая; сени, в них чулан с подволокою; нужник...»

Теперь уж подивился Ваня не голосу, а тому, что диктовалось: основательный, видно, мужик был Семен Вырин! Вишь, запоры у него железные, окна слюдяные, горница есть...

- «Передние ворота об одном щите, - продолжал читать некто за снежной стеною, - у тех ворот на правой стороне амбар с подволокою и с погребом; идучи двором, други ворота об одном щите на пустую улицу... за теми воротами колодец на меже; пять бочек наибольших, три кадки наибольших же, чан, два ларя...»

Голос замер, будто оборвался. Опять тишина. Глухо. Ваня постоял, подождал: не продлится ли чтение? Нет, не продлилось. Подумалось: не вернуться ли домой? Не то, чтобы страшно, но как-то робостно сделалось. Усилием воли подтолкнул себя вперед! Нечего обращать внимания на то, что лишь блазнится.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1.

Он поймал себя на том, что глаза уже не открывает, а напротив, зажмуривает: некуда смотреть, вокруг белая тьма.

На кого он сейчас похож? А вот на кого... Однажды – дело было летом – за огородом на лугу увидел он свежую кучку земли; она шевелилась, подталкиваемая снизу. Быстро определил по череду уже подсохших кучек, куда идет подземный ход, заступом перегородил зверьку путь отступления и добыл его. Это

было беспомощное существо, величиной с маленького котенка, которое смешно фыркало, пытаюсь его напугать. С непонятным для себя содроганием он увидел голые ладошки на вывернутых назад лапках... глаза крота были зажмурены, чем как раз он и походил на новорожденного котенка.

«У него срослись веки! – ужаснулся тогда Ваня. – Он не видит света, живет в темноте. Ничего не стоит ему выбраться на солнышко, но он не хочет! Не хочет, вот какой ужас. Так и живет».

Вот теперь и сам стал, как тот крот: с зажмуренными глазами. Роет свой ход и не хочет выбираться наверх, потому что там холодно и метельно. Если некое огромное существо сверху перегородит ему чем-нибудь путь отступления к дому, то сможет легко добыть его, Ваню-дурачка, и разглядывать с тем же любопытством, как сам он разглядывал крота.

Унизительно было сознавать себя в таком положении.

- Бра-а-атко-о! – донеслось вдруг до его слуха, отчего он вздрогнул. – Бра-атко-о! Тятя велел запряхь Гнедка-а-а... ехать на ораму по-ожню-у-у!

И почудилось Ване от этого крика: не зима теперь, а летний вечер... Нет, и не вечер, а августовское утро, тихое, раннее, росное, и не снежный пласт придавил деревню, а тишина... даже, вроде бы, повеял на низины ветерок, пахнувший свежей травой, тиной из пруда и пыльной дорогой. И послышалось конское ржание...

- Бра-атко-о! – донеслось опять. – Тятя велел наборзо!

Только по росной траве так звучит голос. Кто это кричит? И – кому? Где тот «тятя», и каков из себя «братко»? И как увидеть того, который зовет?

«А ведь я слышал раньше этот голос! – осенило Ваню Сорокоумова. – Кто так кричал: «Антропка-а-а!.. Иди сюда, чёрт леши-и-ий!..». Было же это, было!

Он даже приостановился, пытаюсь вспомнить, где слышал этот крик. И вспомнил:

«У Тургенева в «Записках охотника», вот где. В «Бежином луге»? Нет, так заканчивается рассказ «Певцы». Там Иван Сергеич возвращается из кабачка Притынного в деревне Колотовка и слышит этот крик. А всё равно голос, как с Бежина луга. Антропку зовут, он в ответ: «Заче-е-ем?».

Ваня засмеялся, вспомнив, что Антропка услышал: «А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т!»

«Бра-атко!» – всё ещё чудилось в воздухе.

Отнесло отрадное наваждение лета словно бы ветерком, и Ваня продолжал работу с удвоенной энергией – азартно, торопясь, и вдруг вывалился в свободное пространство: под прямым углом к его норе в одну и другую сторону уходил просторный

ход с аккуратно закругленным арочным сводом; с одной стороны этот ход резко сужался, а с другой упирался в крыльцо, и возле того крыльца кто-то хрустел снегом, греб лопатой по мерзлой земле.

Свет керосинового фонаря, стоявшего на расчищенной от снега скамье, заслоняла фигура тяжело двигавшегося человека – это был Митрий Колошин. У Митрия вокруг дома везде скамьи понаделаны: и под окнами, и в огороде, и возле колодца собственного, и у палисадника – скамьи эти располагались таким образом, чтоб где бы он ни управлялся по своему хозяйству, тотчас, далеко не ходя, мог сесть и отдохнуть.

Стены его хода как бы выверены по линейке и выглажены – словно оштукатурены; земля чуть ли не подметена, а самое главное – просторно тут, словно в метро, только без поездов-электричек; на телеге, пожалуй, можно проехать, не задевая колесами за стены, а другой за свод.

Никогда Ваня так не обрадовался бы встрече с Колошиным, как теперь.

- Здорово, дядь Митрий!

Тот тяжело обернулся, скрипнул, казалось, всеми суставами своего грузного тела, ответил хмуро, даже мрачно:

- А-а, контуженой! Здорово.

С некоторых пор, да вот, пожалуй, после того, как Ваня вернулся из больницы, Митрий звал его иногда «контуженым». Но произносил это слово уважительно и с состраданием, снисходительно утешая: «Ничего, меня тоже на фронте два раза шарахнуло. А вот оклемался, и ничего».

Колошин продолжал хлопывать стены своего «метро». От его хмурого ответа Ване стало неловко: получалось, что вторгся в чужие владения и не шибко ему тут рады.

- А я это... рою главный ход сообщения вдоль деревни.

Колошин в ответ прокашлялся и тяжело, опять скрипя всем телом, зашагал к крыльцу, опираясь на деревянную лопату, как на костыль; нижние ступеньки были аккуратно разметены, и голочок лежал, не брошенный, а положенный «у места».

Жена Митрия, Катерина, болеет, почти не встаёт с постели; значит, всё это он сам, сам.

2.

Колошину уже семьдесят с лишком. В Великую Отечественную он воевал, и не как-нибудь, а по-настоящему – имеет два боевых ордена: помимо того, что нет обеих ног, ещё и широкий шрам от минного осколка от ключицы до ключицы – здесь у него кость выломана – и два пальца на правой руке отсекло.

- Я не человек, я обрубок человеческий! – говорил Митрий сурово.

Он сам сделал себе ноги. Более того, мастерил их довольно много, одну за другой, и каждая новая была удобнее и послушнее прежней: умение Колошина явно возрастало от ноги к ноге. Та, что пристегивалась у самого паха, была полным подобием живой и состояла из множества липовых деревяшек, хитроумно скреплённых ремешками – при ходьбе она немного гнулась и в коленном суставе, и в стопе. Вверху самодельная нога имела кожаную чашку и крепилась ремнями к широкому поясу... Примерно таким же порядком Митрий приставлял и другой протез, покороче первого, ниже колена.

Мастерил он деревянные протезы не только себе, к нему приезжали инвалиды и из города, им он мастерил протезы на заказ. Говорили, что какой-то инженер снимал с них чертежи.

Однажды Ваня стал невольным свидетелем того, как Митрий, поднимаясь утром с постели, «снаряжался» на день, то есть пристёгивал ногу, потом другую... Лучше бы этого не видеть никогда! Процедура пристёгивания, приставления к живому телу неживых ног долго потом снилась: не только ноги, но и руки пристёгивает себе Митрий и даже голову: была неживая, с закрытыми глазами, но вот приставлена к туловищу и заморгала. С тех пор Ваня инстинктивно сторонился Колошина, как сторонятся мёртвых; им владела жалость пополам с ужасом.

Но вот после того, как сам побывал в больнице, стал испытывать странное родственное чувство к инвалиду. Да и Митрий-то подобрел к нему; теперь они вроде бы как равны, во всяком случае оба причастны к большой беде, какая случается отнюдь не с каждым.

Нынешним летом, шагая по деревне, Ваня уже не обходил дом Митрия стороной, а напротив, если видел его на улице, шёл к нему затем лишь, чтобы поздороваться. Иногда удавалось и поговорить, именно удавалось, потому что Митрий немногословен, редко разговаривал. Беседы эти были не о погоде и не об огороде, а этак «государственного» характера.

- У нас году в пятидесятом, после укрупнения колхозов, председателем стал Барабошин Василий Тимофеич, из учителей, - говорил Митрий без всякого вступления, словно продолжая начатое ранее. – Партейной... в очках... Вот уж мастер был языком-то да руками разводить! Да... Собрания любил! В самую страду, бывало, соберёт народ, чтоб ему выступить. Встанет и – часа два рассуждает: как надо сеять и жать, что сеять и где, и когда. Как комиссию создать, каждое плёвое дело расписать на бумаге, по пунктам... и что-де партия вдохновляет и призывает... правительство правильно решило... Послушаешь – ну, умён мужик! А дела...

Тут Митрий красноречиво употреблял матерные слова, махал рукой, сплевывал: ясно, что толку от Барабошина Василия не было никакого.

- Так и звали его: Барабошка., - заключал мрачно рассказчик.

Ваня скоро приноровился к своеобразному мышлению Колошина: речь тут не о бывшем председателе – о нынешней власти государственной, и конкретно ясно о ком.

Поскольку такая беседа обычно проходила у колошинского дома, в нее встревала слабым голосом Катерина из раскрытого окна:

- Вот бы послушали вас, таких смелых... да и упекли бы на Соловки.

- Это верно, - тотчас соглашался Митрий. – По этой части они мастаки.

3.

Казалось, Колошин сегодня за что-то сердит на Ваню – нет, он всегда таков и со всеми, даже с Катериной и со своей горбатенькой сестрой Ольгой, которая живет напротив. Эта суровость – как боевые доспехи на войне. А под доспехами живое израненное тело.

Митрий остановился, грузно обернулся:

- Радио молчит, свету нет... Какой нонче день? Воскресенье? Понедельник? Или уже вторник?

- Понятия не имею, - признался Ваня.

- Вот и я тоже. А сколько сейчас времени?

Ваня пожал плечами.

Митрий развернулся, сел на скамью под окном, сказал, размышляя:

- Может, война началась?

Тоскливая мысль о вселенской катастрофе не отпускала и Ваню, но он отгонял ее усилием воли.

- Раз снегопад, значит, война? – усмехнулся он, не желая делиться с Колошиным своими страхами. – Какая тут связь?

- А та, - пояснил Митрий грозно. – Применители атомное оружие, покривилась ось земли, к нам подвинулся Северный полюс.

Насчет земной оси Ваня и сам ранее подумал, но взрыв атомной бомбы, как причина смещения полюса, пока не приходила ему в голову.

- Война – вряд ли, - осторожно сказал он. – Может что-нибудь и посерьезнее...

- Что серьезнее атомной войны?

Во взгляде Колошина была прямо-таки свирепость.

- Мало ли! Например, солнце остыло... Земля сорвалась с орбиты.

- Ну, уж это вряд ли.

Космическая причина явно озадачила Митрия, хоть он и отверг ее решительно.

- Есть многое на свете, - машинально выговорил Ваня, - что не доступно даже мудрецам.

- А вот это ты верно рассудил.

- Не я – Шекспир.

После некоторого колебания Колошин сказал:

- Тут, вроде бы, немцы появились... на мотоциклах.

- Какие немцы? – в свою очередь озадачился Ваня.

- А черт их знает! Мерещится всякое... Я к дровяной поленнице ход торил – мотоцикл, слышу, подъехал сзади. И по звуку чую, что не наш, а вроде бы как немецкий. А не верится! Тотчас за спиной у меня: «Хальт!» Обернулся...

Митрий замолчал.

- Ну? – поторопил Ваня.

- Немец с автоматом, палец на крючке... Я стою дурак дураком, ничего не понимаю. А он автомат опустил и ухмыляется, гад! И такое у него в ухмылке этой: мол, не ты меня победил, а я тебя; что хочу с тобой, то и сделаю, на твоей же собственной земле.

Митрий в негодовании задвигался, заскрипел всеми суставами своих неживых конечностей.

- И что потом? – спросил озадаченный Ваня после паузы.

- Потом щи с котом. Должно быть, сели на мотоциклы да уехали.

Ну вот, и Колошину тоже поблазнилось...

- Но ты их ясно видел, Митрий Васильич?

- В том-то и дело! Куда уж ясней! Вот как тебя... Две курицы у нас пропали, - добавил он, хмурясь. – Я вот думаю: неужто эти стервецы прихватили, а?

Было ясно, что почудилось инвалиду. Чего он так волнуется-то? И куры найдутся.

- Хоть бы не ухмылялись, сволочи! Такая во мне обида! Вижу: сытые, здоровые... Я ж их убил! Хорошо помню, как с мотоцикла двоих сшиб. А они – вот они! Опять явились!

- Атмосферное давление повысилось, - с улыбкою сказал Ваня. – Воздействует на психику нам.

- Где-то что-то случилось, - осторожно высказался Митрий. – А что и почему, понять невозможно. Порядок жизни нарушился – и в природе, и в обществе. Весь механизм поломался, вразнос пошел, как телега с горы. Так я думаю.

Тут Ване показалось, что где-то в отдалении профырчал мотоцикл... и еще один...

Митрий тоже насторожился, напряженно вслушиваясь, кивнул:

- Чуешь?

Звуки эти как бы относило ветром, и не разобрать, то ли мотоцикл, то ли что-то иное.

- Пустое, Митрий Васильич! – утешил его Ваня. – Не обращай внимания.

- Печь не растопить – дым в избу идет, - пожаловался Митрий, приглушая голос, словно их могли слышать те, что шастали окрест. – В нетопленной избе жить – беда.

- Там снегу насыпало выше крыши.

- Да уж я догадался...

Лестница у Митрия добротная, прислонена за крыльцом стоймя. Ваня влез на крышу – вытянул ее за собой, добрался до князька и здесь тем же порядком, что и у себя над домом, протаранил над трубой вертикальный ход наверх. Высунулся – там, наверху, по-прежнему мела метелюга по снежной равнине, белые языки вылизывали ее; широкие потоки, завихряясь, мчались, обгоняя друг друга... но если раньше облака по небу несли в том же направлении, что и снег по земле, то теперь они, ставши еще более зловещими, мчались обратно. Это встречное движение создавало фантастическую карусель и соответствовало какому-то общему замыслу, постигнуть который казалось просто невозможно.

Ваня спустился оттуда с усилившейся тревогой, Митрию сказал:

- Все в порядке, можно печь затапливать.

- Ну, что там, наверху?

- Снег идет, - уклончиво отвечал Ваня, вытирая мокрое лицо полой куртки, исподней ее стороной.

Митрий закашлялся и повторил сказанное ранее:

- Сломалось что-то в механизме природы. Какая-то авария в ней...

4.

Митрий Васильевич Колошин, человек как человек. на двух ногах, при двух руках. Даже когда пойдет – ну, хромает... ну, ступает тяжело. Но если знать, что составлен он из частей живых и неживых... Казалось, весь он скрипел, как скрипели его деревяшки-ноги. А при всем при том Митрий и топором рубил, и косой косил, и заступом копал, и рубанком стругал, и даже носил воду из колодца по одному ведру – хотя видно было, чего стоил ему каждый шаг, когда он нес эту воду. Просто нагнуться и поднять что-то с земли было Митрию непросто, а он перетаскивал мешки, перекатывал бревна, колол дрова, крыл крышу...

Работал всегда медленно, постанывая и побряхтывая, да с матерком, но усердно, постоянно, с утра до вечера. Ему несли отбить косу, насадить топор, подшить валенки, заклепать ведро, вылудить чайник или самовар – он выслушивал просьбу хмуро, но никому не отказывал.

Дом Колошина покрыт шифером и обит тесом, наличники покрашены, изгородь огорода крепкая, и что ни возьми – носилки, тачка, лестница, ручная тележка, скамейка – все прочное, надежное, потому как сделано хозяйскими руками. Нигде и ничто не валялось возле дома просто так – не брошено, не оставлено, не забыто – напротив, прибрано, подметено.

Двор у Колошиных полон живности: корова с годовалой телкой, овец шесть штук, свинья с четырьмя поросятами, кур и гусей столько, сколько не держат все остальные в деревне вместе взятые.

Жена Митрия время от времени ложится в больницу – и тогда со всей этой живностью управляется сам хозяин: он и корову доит, и навоз вычищает, и печь топит. Как это ему удается – непостижимо.

- Если б все так работали, как ты, Митрий Васильич, - похваливали его лучкинские, - мы б давно при коммунизме жили.

- Нет, - отзывался он и убежденно повторял: - Нет! От нас тут ничего не зависит, сколько мы ни работай.

- Ну-ко, если б все-то! Как это не зависит!

- Вот если в работающей семье хозяин бросает деньги в печь или, скажем, в форточку, - будет такая семья жить хорошо?

Тут Митрий сурово взглядывал на присутствующих и отрубал рукой:

- Не будет! Вот так и у нас в государстве. Работают одни, а кошельком распоряжаются другие. Потому и живем хреново.

Мысль о необходимости иметь хорошего хозяина в стране, который наведет в ней должный порядок, была излюбленной его мыслью. Он развивал ее не раз, при этом обязательно вспоминал незабвенного генералиссимуса. Для Митрия существовало два Сталина – оба сидели в Кремле и правили страной: один расстреливал своих друзей и врагов, гнал Гитлеру эшелоны с рудой и хлебом, ликвидировал крестьянство, как класс и вообще был отменный мастер по части больших и малых злодейств; другой стоял на Мавзолее, приветствуя–празднующий народ, ежегодно снижал цены на соль и спички, присоединял к Российской державе все новые и новые земли, а карал только саботажников, тунеядцев и троцкистов. Именно второго Митрий имел ввиду, крича «За Сталина!», когда бежал в атаку по минному полю в тот роковой день, лишивший его обеих ног.

- Вожди опустили... - вслух размышлял Митрий, сидя теперь в своем подснежном «метро». – А должен быть хозяин, как

в хорошей семье. Прикажет: выгребай навоз – значит, выгребай. А назначит праздник – ну так отдыхай, веселись. А если обсуждать каждое такое распоряжение да решать общим голосованием – захиреет хозяйство. Порядок должен быть!

- Что, и нынче Сталин нужен? – спросил Ваня, опять как дровишек в костер подкинул.

Митрий уловил оттенок иронии в этом вопросе.

- Да! – сказал он, сердясь. – Хоть бы и Сталин, мать его в душу.

И вот при упоминании грозного имени, на свет фонаря откуда-то вдруг выкатился бесформенный ком, отряхнулся от снега и оказался существом на четырех лапах, покрытых длинной шерстью, с острой мордочкой, которая оканчивалась розовым пятчком, как у поросенка... но ведь лапы же, как у кошки! – глаза злобные, волчьи... надо лбом короткие прямые рожки, как у молодого козленка; при этом уши не стояли торчком, а висели, как у собаки, а хвост был длинный, отвратительно-голый.

- Опять! – зарычал Митрий и метнул в него лопату, словно копьё.

Существо ублюдного вида то ли прохрюкало, то ли проблеяло, мигом воткнулось в снежную стену и исчезло, не оставив за собой никаких следов.

- Ишь, нечисть разгулялась! – тяжело дыша, выговорил инвалид.

- Кто это? – спросил огорошенный Ваня, не слыша собственного голоса; мороз прошел у него по спине – не от страха, нет, от гадливого чувства.

Митрий тыльной стороной ладони вытер пот со лба:

- И ты, Ваня, видел?

- Ну!

- А я думал, только мне это кажется. Оно уж не первый раз. Вот стоит упомянуть... - Митрий запнулся, - так и выскочит. То ли боров, то ли козел, то ли волк в овечьей шкуре. Клыки у него видел какие?.. Я ружье зарядил, на крыльце держу – хорошо бы его ухлопать, гада! Но ведь пока я до ружья дохромаю, эта тварь убежит! Она проворная.

Страху не было в душе Вани – только озадаченность.

Впрочем, как не было – было! Страшновато, конечно, однако надо же не сидеть, сложа руки, а действовать!

- С того конца деревни что-то нету никаких вестей, - сказал Митрий озабоченно.- Ольга давеча пыталась проторить туда ход, да заблудилась, едва выбралась. Наведайся ты, Иван, а то не случилось бы какой беды: дети малые у Верки, а Махоня – старушка нрава лёгкого, ей бы толко сказки рассказывать, небылицы придумывать, в случае чего от неё хромой Верке помощи не ждать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1.

Ваня принялся торить ход дальше, да заторопился слишком и где-то сбился с пути, хотя всё время был уверен, что торит правильно. Ведь верные же ориентиры – пруд с мосточками, на берегу вётылы в ряд, он узнавал тут каждое дерево; далее камни, служившие когда-то фундаментом кулацкому дому Семёна Четверикова; ещё дальше – пни от спиленных лип; эти липы росли перед бывшим колхозным правлением, а правление занимало дом одного из раскулаченных – Данилы Золовкина.

Почему самые крепкие дома в Лучкине оказались недолговечными, а хилые да слабые ещё стоят? Ведь так же и с помещичьими усадьбами в своё время получилось: уж такие ли дворцы стояли – с колоннами, в два и три этажа, с каменными да кирпичными надворными пристройками! Нету их. Одно такое поместье располагалось, кстати сказать, на Селиверстовом холме: и дом был кирпичный в два этажа, и два флигеля, и неподалёку церковка – теперь там пусто, только старое прицерковное кладбище. Кирпичные дворцы не уцелели, а хилые избенки устояли и в войны. и в бури, пережили свой век.

- Это потому, - объяснял однажды Митрий Колошин, - что всякая хоромина держится на плечах своего хозяина. Он главный несущий столб её. И пока этот столб не рухнет, то есть пока хозяин живёт, и дом стоит. А умер да опустел дом – тут ему и конец.

Пожалуй, это верно. Вон избушка Анны Плетнёвой того и гляди повалится. Но стоит! И будет стоять, покуда хозяйка в ней: там подопрёт брёвнышком или колышком, тут щель или дырку заткнёт...

- Вот и государство так: только хозяином сильно, - говорил Колошин, подводя базу под своё излюбленное рассуждение.

На этот счёт у Вани своё мнение.

«Вот так и с людьми, - думал он. – Выживают смиренные да терпеливые, а гордые да чванные, да те, что высовываются, кому больше всех всегда надо – эти погибают... Но ведь именно о них память остаётся! Только о них».

В гибели лучших лучкинских домов виновата злая сила, властвовавшая над этой землёй. Она по умыслу, конечная цель которого неведома, погубила домовитых хозяев. Те хозяева были подобны опорам мост; на них держался родимый кров каждого и вся деревня в целом, и самой небо над нею; их подрубили, и вот небо обрушилось...

От Даниловых пней Ваня взял, вроде бы, верный курс – по тропинке должен был попасть прямо к крыльцу Шурыгиных, но вместо этого упёрся в стог сена... стог этот – чей? Рядом оказались ворота – он узнал их: это Махонин дом. Ну, что ж, и это кстати: небось, Махоня знает, как там, у Шурыгиных. Уж конечно, наведалась к ним, не утерпела; ребятишки Верунины считают её за родную бабку.

Настасья Махонина – старушка небольшого росточка и словно бы сдобненькая – румяная, как пышечка. Она ко всем благорасположена, всегда чем-то обрадована, охотно улыбается и смеётся.

Ворота её двора были заперты, но рядом дверь черного хода чуть-чуть приотворена: должно быть, её пытались открыть изнутри, но не осилили. Ваня протиснулся через эту дверь; вот он сейчас войдёт в избу, и Махоня поведёт очередное: «Вхожу давеча, а он и сидит на подоконнике, гераньку нюхает...» – «Кто?» – «А как тебе сказать...».

В темноте двора вдруг кто-то горячодохнул Ване в лицо и лизнул в щеку: Махонина Зорька узнала его и выразила таким образом своё дружеское расположение.

- Заикой меня сделаешь, - укорил он её.

Небось, хотела сказать: помнишь, мол, как мы вместе паслись летом у Селивёрстова холма?.. «Ну, это ты паслась, а не я». – возразил ей Ваня, нащупывая ногой ступени лестницы. «Мы вместе, - не согласилась Зорька, - и другие коровы тоже». – «Да ладно! – отмахнулся Ваня. – Ишь, нашла друга...» – «Как тогда было хорошо! Ласковое солнышко, теплый ветерок, зеленая травка... А сейчас, вишь, снегу навалило, сиром, темно... Скорей бы весна, верно?» – «Да уж знамо, весной лучше!» – «Скажи хозяйке, чтоб пошла принесла». – «Скажу».

Такой, надо полагать, состоялся у них разговор, пока он пробирався в темноте по черному ходу.

2.

Махоня сидела при керосиновой коптилке и вязала. Встретила его так, словно он на минуту отлучился и вот вернулся.

- Дверь прикрывай плотнее, а то холоду напустишь.

Она была в двух кофтах, надетых одна на другую, а поверх овчинная душегрея, неловко скроенная и грубо сшитая. – В таком наряде Махоня была «вдвое себя толще». На полу раскатились клубки шерстяных ниток; прялка с колесом стояла рядом, на лавке. В ней кудель. Пахло в избе овечьей шерстью, дымом дровяным – должно быть, уже пыталась растопить печь.

Огонёк коптилки колебался; живые тени двигались по избе, отчего и всё двигалось, обретая одушевлённость. Великое дело – огонёк. Даже вот такой маленький.

Ваня сел на лавку. Оглядываясь.

Махоня вязала, сидя за столом... носочки совсем крохотные – для кошки, что ли? С неё станется...

- Ну, что, тётъ Насть, скучаем?

- У нас тут не скучно, - тотчас возразила она. – Мне есть с кем поговорить.

Ну вот, начинается...

- Глянь, - Махоня кивнула в сторону кухни. – Видишь, сидит возле залавка?

И верно, там то ли сидел, то ли стоял, поёживаясь, кто-то серенький, большеголовый, ростом не выше деревянной бадьи. То ли шапка у него на голове, то ли волосы так буйно росли – не кудрявые, а этак стожком соломенным; борода с проседью, начиналась от глаз, смиренно моргающих; нос картошечкой торчал из бороды, усы обозначили маленький ротик.

Ваня глазам своим не верил.

Если б не весёлый голос хозяйки, модно бы и испугаться. А так не страх, а... огорошенность, и уж не в первый раз за нынешний день. Это существо повернуло голову, сделало шажок... и смотрело на гостя большими виноватыми глазами.

- Я его Иван Иванычем зову. Вот свитерок ему связала, он надел да и не снимает, понравилось... Иван Иваныч! Ну-ко, выйди, дай на тебя поглядеть. Вишь, гость у нас.

Но Иван Иваныч мелкими шажками подался этак ближе к подпечку и прислонился к ухватам. На нём, верно, был серый свитерок и толстые вязаные чулки. Он чихнул, застенчиво закрылся рукой.

- Иван Иваныч! – опять позвала Махоня; она рада была безмерно, что смогла, наконец, явить постороннему человеку того, о ком раньше рассказывала, а ей не верили. – Да ну-ко выйди, что ты какой невежливой!

Но Иван Иваныч неловко нагнулся и втиснулся в подпечек, громыхнув при этом ухватами.

- Хозяин, - уважительно сказала Махоня. – То веничек возьмёт да и подметёт, то лучинок нащепает на растопку. А только что робок больно. Вишь, тебя боится.

В подпечке опять раздался чих; оттуда выкатилось круглое поленце. На это Махоня выговорила ворчливо:

- Пошто туда забрался? Пылища там... Ну, так тебе и надо: не будешь лазить, куда не след. Сто разов говорила: живи по-людски, чего всё по углам-то тёмным хорониться?

В ответ из подпечка ей что-то было сказано, однако Ваня не разобрал. А сказано было голосом стариковским, тоже ворчливым.

- Я его частенько ругаю, - тихонько сообщила Махоня. – А он тоже на меня поварчивает. Так вот и живём.

3.

Чуть погодя, оказалось, что Иван Иванович не единственный гость у хозяйки.

- Раньше-то я знала, что они тут, да ведь не показывались!
- как бы между прочим, как об обыденном сообщила она. - А вот нынче объявились

- Кто «они»? – насторожился Ваня.

Махоня только улыбнулась: узнаешь, мол.

Странные звуки послышались на печи за трубой – картавенькое голубиное воркование, голоса впереводку.

- А это у меня две *попелушки* живут семейно, - сообщила Махоня. – Парочка неразлучная, петь не поют, а так славно меж собой разговаривают!

- Что за *попелушки*?

- А как тебе объяснить... сказала бы *птички*, а не птички: на мордочках у них носы, как у котят, а не клювы, и крылышков по две пары, а сами-то маленькие, со спичечный коробок или чуть побольше.

- Так это летучие мыши, - подсказал Ваня.

- В пёрышках-то? Али я мышей не знаю! У тех вместо крыльев перепоночки, а у моих попелушек – перья, как у воробьёв. Они тепло ужасно любят. А теперь вот зябнут: печь-то захламилась.

Тут из-под кровати выбежали... двое человечков, такие шустрые старички, величиной... да, небось, не выше обычного стакана. Их было двое, они подбежали к клубку у ног хозяйки и покатали его к себе под кровать, попискивая весело и бойко. Ваня даже ноги подобрал под лавку, испугавшись неведомо чего.

«Надо уходить, - подумал он. – А то у меня крыша поедет».

- Тоже вот... живут у меня, - благодушно сказала Махоня в ответ на молчаливое Ванино изумление. – Пускай, мне не жалко.

На подмогу этим человечкам выскочило ещё несколько, они закатали клубок под кровать, толкая друг друга, по-видимому, балуясь. Опять выбежали дружной компанией, попискивая, и направились было к другому клубку, но тут с кровати спрыгнула кошка, и они бросились врассыпную. Один спрятался за веник у порога, другой залез в калошу, опрокинул её на себя, как лодку.

Кошка лапой чуть не сцапала зазевавшегося, но из-под кровати выскочил с прутом самый храбрый и огрел её по морде. Кошка обиженно отступила, всем видом говоря: вы что, шуток не понимаете?

- Играют, - объяснила Махоня. – Я на них глядеть уморюсь...

- Кто это? – едва выговорил Ваня от изумления.

- Да все свои люди, - просто сказала она и очень ласково улыбнулась. – Беженцы они: с прежних мест снялись, невмоготу им стало, вот и прижились у меня.

- А где они раньше жили?

- Говорят, скитались: в городе жили, а там шумно, чадно, угарно... а главное, народ городской очень уж беспокойный, нервный; не уживёшься с ним.

Весёлая возня под кроватью закончилась тем, что клубок выкатился оттуда как раз на кошку.

- Вишь, что вытворяют! – покачала головой Махоня; она вся светилась радостью.

А за стеной, на улице, раздался велосипедный звонок.

- Ну-ка, Вань, выйди, - живо сказала Махоня, - это мне пенсию привезли.

Ваня встал, прислушался – опять раздался звоночек, и слышно, как кто-то прислонил велосипед к стене, потопал.

- Почтальонка это, Ваня. Выйди, встретить её. В сенях темно, и двери не найдёт.

Он пожал плечами, вышел на крыльцо – перед ним стеной стоял снег. Откуда взяться почтальонке с пенсией на велосипеде! Разумеется, тут не было никого. Постоял, ожидая, не раздастся ли опять призывный звяк звоночка, но было тихо, безмолвно. Значит, всё это чьи-то шутки...

Прямо от крыльца уходил в белый сумрак неровный ход – небось, Махоня проделала. Как она его торила? Почему он у неё получился такой странный – словно она перед собой катила бочку, а бочка та то вправо, то влево?

- Нет никого, - сказал Ваня, вернувшись в дом.

- Да вот и эти мне говорят, что послышалось, мол, вам.

Махоня и кивком головы, и вязальной спицей показала на середину пола: там вокруг миски с молоком расположились *свои люди*; они макали в молоко кусочки хлеба и ели.

- Вот уговариваю их по-человечески сесть за стол или хотя бы на стол. Нет, говорят, там нам удобнее. Экие бескультурные, право!

При Ване *свои люди* застеснялись и подались под лавку, в темноту. Он успел рассмотреть их: у них были вполне осмысленные маленькие лица, мужички были с бородами и усами, из-под вязаных шапочек – лихие чубы... всё, как у настоящих лю-

дей. Бабёночки при них в вязаных душегреях, на головах платочки... С ума можно сойти!

«Пора уходить, - опять остерегающе подумал Ваня. – А то в голове затиндиликало... значит, ум за разум зашёл».

4.

Подснежный ход, проделанный от Махониного крыльца в сторону дома Веруни, стал заворачивать сначала в одну сторону, потом в другую, дальше почему-то раздвоился. Как это могло получиться и что это означало? Ваня постоял в недоумении и пошел направо. Попался столб – ну да, все правильно, тут электролиния. За столбом должна быть ржавая и помятая бочка изпод мазута. Но ход пошел опять криво-косо, никаких бочек не попадалось, и скоро закончился тупиком. Ага, значит, Махоня торила-торила, потом сообразила, что не туда, и вернулась.

Вернулся и он к той развилке, отправился по другой норе, а тв уходила под уклон и в свою очередь раздвоилась, причем оба хода заворачивали в разные стороны.

- Э-гей! – крикнул он. – Кто тут есть?

Толща снега глухо молчала.

Теперь Ваня и сам не мог бы с уверенностью сказать, в которой стороне дом Махони, и где Верунин или его собственный дом. Остановился, прислушался, поворачиваясь лицом туда и сюда. Почудился где-то рядом хруст снега... или это скрип ка-литки?

- Веруня!

В ответ захлопал крыльями петух и прогорланил «ку-ка-ре-ку!», а женский голос – нет, не Верунин – позвал: «Цыпы-цыпы-цыпы...» Слышно стало, как дробно клюют куры – то ли в деревянном корыте, то ли просто на крылечке.

- Э-гей! Кто меня слышит?!

Никто его не слышал. Зато кукушка закуковала неподалеку. Замолчала, но после паузы снова подала голос, а ей откликнулась другая. И замолчали обе враз. Но комар откуда-то прилетел, запищал гневно.

- Уж больно ты грозен, как я погляжу, - сказал Ваня и хлопнул себя по щеке.

Комар благополучно избежал смерти, улетел, обиженно пища. Повезло бродяге...но откуда он взялся в снегу-то?

Ваню вдруг посетило ощущение, что это было совсем недавно с ним: и кукушка куковала, и комар прилетал. Ну да, это было с ним в лесу, когда он возвращался вчера... если это было именно вчера, а не три-четыре дня назад.

5.

Вечером того дня к Сорокоумовым, как обычно, явилась Веруня. Едва переступив порог, радостно пожаловалась:

- Ой, Маруся, что-то я нынче еле проснулась поутру, а днем опять прилегла, – так еле-еле встала. Вот и сейчас – одолевает меня сон! Иду к вам, а сама будто сплю.

Говоря это, она то ли улыбалась, то ли зевала.

- Погода такая, - сказала Маруся, тоже зевая. – Даже телята наши сонные да вялые, словно им снотворного в пойло кто-то подсыпал.

Ничего от прежнего общественного хозяйства не осталось в Лучкине – ни коровника, ни свинарника, ни сараев и амбаров, ни конюшни да кузницы – только телятник.

- А уж снегу-то, снегу! – долетало до Вани, словно из-за пелены ватной. – Еле дошла до вас... Эку борозду пропахала в снегу – как канаву! Иду, а меня качает. И вот подумай-ко: я сплю весь день, а ухарцев моих и сон не берет. Нет на них угомону!

Речь о ребятишках Веруни. Они у нее будто близнецы-тройняшки: все толстенькие, круглоголовенькие, причем один беленький, второй черненький и третий рыженький. Их появление на свет Веруня объяснила своей подруге попросту, не стесняясь и Вани:

- Э, Маруся! Я до тридцати годов честь свою девичью блюла, ты знаешь. А потом распочалась, дак... чего уж!

Раз в год она уезжала погостить к своей сестре, а та работала то ли официанткой, то ли горничной в доме отдыха на Селигере, благо тут не так уж и далеко. Веруня гостит у сестры недели две – три, а потом в положенный срок родит парнишку, толстенького и плутоватого.

- Мне ли на замужество надеяться! – объясняла она. – А ребятишки – искупление моих грехов перед Богом и людьми.

Если б она еще девчонкой не сломала ногу (тракторная тележка с людьми опрокинулась), самый лучший жених в округе был бы Верунин; она очень красивая – глаза большие, брови широкие, вразлет. А улыбка у Веруни какая! Но вот не повезло ей... Впрочем, она не унывает, равно как и ее сынишки тоже.

Неугомоннее этих ребят нет, небось, никого на свете: предприимчивы, отважны, любознательны, шkodливы. Зимой и летом в доме Шурыгиных и возле него жизнь кипит ключом: то визг и смех, то крик и плач, а то и все разом. Что-нибудь строят и ломают, пилят и колют, выдирают с корнем и переворачивают вверх дном, гоняют кур в лопуховых зарослях, запрягают собаку Лохму в гусиное корыто, в пруду ловят лягушек и тритонов, в осоке ручья – стрекоз... Уж они и молоко с керосином мешали, и кошку Василису в кринку запихивали, и дровяную поленницу туда и сюда валили, и стог соломы за огородом поджигали...

Если б вести летопись их подвигов, она была бы довольно объёмиста.

6.

- Уж какой я сон нынче видела! – говорила Веруня вчера, по-свойски уминая пироги, напечённые Марусей для сына. – Будто лежу я в постели, и входят трое мужчин...

- Ну, кто про что, а вшивый про баню, - сказала на это Маруся. – мужики, вишь, ей снятся! Постыдись хоть парня моего!

- Да погоди ты! Дай сон рассказать... Входят будто ко мне двое военных – как они в избу попали, если двери заперты, ума не приложу. И ещё чудно мне: инеем их обметало – словно стужа на дворе невесть какая! А они в шинелишках, то есть в форме летней, вроде бы как не по сезону одеты, но держатся Bravo. Один, сразу видно, командир - фуражка у него и погоды не как у наших нынешних офицеров, и сабля на боку., револьвер в кобур, и ремень через грудь – весь из себя прям невозможный красавец! Лицо такое строгое, брови прямые, глаза суровые – вроде бы, мне испугаться надо, а нет, не испугалась.

Они очень дружны между собою – Ванина мать и Веруня Шурыгина. Дружны давно, еще с детской поры, хотя, если разобраться, совершенно разные они, просто даже совсем непохожи: Маруся худощава, с этакой девчоночей фигурой, потому сыну своему будто не мать, а одного с ним возраста; ходит она легко, опять-таки по-девчоночьи, но всегда серьезна, сдержанна. А Веруня Шурыгина – все наоборот: фигурой грузновата, в походке увалиста, к тому же хромонога; она любит поговорить, посмеяться, и вообще веселая, что называется *шебутная*, ей все нипочем. Но, должно быть, подруги на том и сошлись, что такие разные.

- Весь день сны смотришь, - сказала Маруся, - а телят кто напоит, накормит? Я одна?

- Ты послушай, что дальше-то! Вошли они и, знаешь ли, обое фуражки сняли, перекрестились на икону – мамина икона у меня в углу. Я сама-то сто лет на нее не молилась, а тут, гляжу, интеллигентные мужчины, и крестятся. Второй тоже офицер, молоденький такой, но ладный из себя, подбористый...

Ваня боролся со сном, не в силах удивляться: к ней приходили эти... до выстрелов или после?

- Оба к печке встали, руки греют, спрашивают у меня: что, мол, за деревня да кто у вас в Лучкине живет, и еще про дорогу на Воздвиженское. А то, мол, с пути сбились, потому как снег идет густой – ничего не видать. А я – веришь ли, Маруся? – лежу и встать не могу... Знаю, что неприлично так-то, невежливо, а не могу. И объясняю им все лежа.

- Тебя не переслушаешь, - отозвалась Маруся. – Пойдем-ка к телятам, посмотрим, что с ними.

Но Веруня не унималась, продолжала рассказ:

- Ну, я им сказала про дорогу: мол, мимо огорода моего по изгороди, через ручей, по канаве, да через лес, и все прямо, прямо... Тогда они спрашивают, не стоят ли в ближних деревнях какие-нибудь воинские части. А откуда им взяться! Чай, не военное время...

Ване хотелось спросить об этих офицерах, что они еще говорили, откуда взялись, и если это те самые, что он видел в лесу, то что же, весь отряд в Лучкино заезжал? Или только офицеры? Но побороть сон не смог, и даже не слышал, когда ушла Веруня.

Так было вчера... если, конечно, вчера, а не много дней назад.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1.

За шорохом и скрипом снега – смех женский, веселый, явно Верунин. И лошадка фыркнула, и удила прозвенели, и голос мужской, негромкий, сказал что-то...

Ваня стал пробиваться в ту сторону и уперся вдруг в низкую дверь, над которой нависала соломенная застреха. Почему соломенная-то? У кого это двор или сарай соломой крыт? Бревна старые, обомшелые и выщербленные... Что за строение, Ваня не узнал, и так решил, что это пристройка ко двору Веруни Шурыгиной со стороны огорода.

Именно за стеной слышался веселый разговор. Не долго думая, он толкнул дверь, шагнул вперед и оказался в темном, тесном помещеньице. Под ногами шуршала солома. Рука нащупала лавку с какими-то тряпками, наткнулась на дужку двери, из-за которой, собственно, и слышались голоса и смех. Открыл и – густым паром ударило в лицо... что это?!

Двое парнишек лет по пяти-шести, совершенно голые, с прилипшими волосами, сидели на мокрой лавке; между ними горела лучина в светце, освещая их смеющиеся лица; разинув от удивления рты, парнишки уставились на Ваню.

- Тятя! – позвал один из них опасливо.

Уголёк от лучины упал в мокрую солому на полу и зашипел – лучина вспыхнула поярче, на секунду-две высветив во мраке несколько голых фигур.

За парнишками, на той же лавке девчонка постарше окунула в деревянную лохань голову; она отвела рукой мокрые во-

лосы и ойкнула, но не испуганно, а сердито. Девчонка была круглолица, пухлощека настолько, будто держала за щеками по конфете; волосы у нее длинные-предлинные; она наклонилась чуть в сторону, прячась за парнишек. А в полумраке над жарко натопившейся печкой толстая баба охаживала веником растянувшегося на полке под самым потолком мужика; она тоже оглянулась и гневным голосом сказала:

- Да что же ты вперся в нашу-то мыльню, анафема! Обросим, погляди-ко, какой-то зимогор к нам пожаловал! А вот я тя веником по харе, окаянной!..

Она замахнулась, а мужик проворно спрыгнул со своего полка, поскользнулся, но выправился, встал перед Ваней – рослый, длиннорукий, с вытаращенными глазами; тело его было распаренно-красным, а руки до локтей и шея, и лицо почти черны – это от летнего загара. Мужик, ругнувшись, сгреб его руками-квашнями, босой ногой распахнул дверь и в темном предбаннике так сильно поддал коленом под зад – Ваня будто на крыльях вылетел через распахнувшуюся наружную дверь и врезался в снег.

- Погоди, еще не все, - азартно басил где-то рядом Абросим, и хватал руками, будто карася в тине ловил. – Я те щас... будешь помнить!

Ваня ринулся со всем возможным проворством в сторону, куда глаза глядят... да глаза-то не глядели!.. а лишь бы подалее, подалее от этой чертовой бани, чтоб не настиг его рукастый мужик Абросим, а то ведь наградит еще одним пинком, от которого не скоро очухаешься. Да и срам какой: вперся в чужую мыльню. Откуда она взялась-то?!

Уже совершенно задыхаясь, вывалился куда-то, где было попросторнее - здесь легче дышать; прислушался, не гонятся ли кто следом – нет, погони за ним не было. Да и с чего это голым людям за ним гнаться в снегу! Небось, Абросим только пугал, а сам вернулся в баню да и рассказывает там под хохот всего семейства.

«Эка, двинул, как паровоз кривошипно-шатунным механизмом, - Ваня поежился. – Если б не снег, долго бы мне еще лететь! Силен мужик Абросим...»

Легко все-таки отделался, могло бы случиться и что-нибудь посерьезнее: раздели бы да и выпихнули голого в снег... гуляй, Ваня!

Перед глазами так и маячило: двое лупоглазых парнишек, освещенных горящей лучиной; девчонка отводит рукой от лица волосы, с которых струится вода; могучая баба с ногами-тумбами и Абросим, весь будто свитый из жил и мускулов...

Невозможно было понять, где он находится и что с ним. Если раньше была догадка, что всему виной слуховой обман, наваждение, то теперь...

«Нет, привидения на такие дела не способны, - соображал Ваня. – Они пинка под зад не дают... Или все-таки могут? Кто их знает!»

Оглядевшись, он обнаружил, что сидит не на чем-нибудь, а на одном из пней, оставшихся от лип Данилы Золовкина, мимо которых сам недавно проторил ход. Значит, проделал путешествие вниз к ручью и вокруг шурыгинского дома.

- Ва-ня! – раздалось совсем рядом отчаянное.

Это был голос матери. Или почудилось?

- Ва-ня! – донеслось снова, уже глуше и ещё отчаянней.

Он вскочил:

- Э-гей! Я здесь!

Рыдания были ему ответом.

- Трафь сюда! – позвал он, теперь уже опасаясь идти на поиски: не разминуться бы, а то черт-те куда угодишь!

Где-то в толще снеговой слышался шорох и хруст, словно там ворочался кто-то или боролся неведомо с кем.

- Ты где, мам?

Маруся вывалилась на него, словно снежный ком.

- Ванечка, - выговаривала она и кашляя, и плача. – Ваня...

Лицо ее было мокро, пряди волос прилипли к щекам, в рукава и за шиворот набился снег, голос вздрагивал от пережитого страха и прихлынувшей теперь радости избавления.

Насколько он понял потом из ее сбивчивых объяснений, она заблудилась: торила ход к телятнику, а снег за нею обрушился. Куда было идти? Стала кричать, - снежная толща заглушала ее крики. Пробивалась то туда, то сюда, угодила к ручью... И вот, когда совершенно потеряла надежду на избавление, услышала его голос.

Отдышалась, успокоилась маленько, но рассказывала возбужденно:

- Вань, что творится-то? Мне все время чудилось: какие-то голоса... звуки. Я слышала, как приехали на мотоциклах... Лодка два раза проплывала. Стадо коров мычало...

Тут их обоих словно ветерком обдало и мелодично затиндиликало в ушах; запахло мокрой крапивой и лопухами... лопухи эти и заросли крапивы оказались совсем рядом – из них вышел петух с тяжелым гребнем и красной, словно окровавленной грудью – красавец петух! – отряхнулся, посмотрел на них высокомерно и скрылся снова. Лягушка прошлепала мимо. А по тропинке неподалеку шагали двое беседующих мужиков в рубахах распояской, босиком.

- А обе те есмь деревни продали с орами землями и наволоцкими пожнями, - явственно сказал один из них. – Там и топор ходил, и соха ходила.

Второй в ответ ему густым басом непонятно что: ду-дуду... Они остановились, толкуя о своем, не обращая внимания на сидевших.

- Купил у Ермила... у кузнеца... лодку набоиницу, дал полшеста алтына... - бубнил бас.

Продолжая разговаривать, они двинулись в сторону и скрылись. Маруся сидела, будто онемев, да и Ваня тоже. Он потер ладонями уши – тиндилканье исчезло.

- Значит, ОНИ на самом деле есть... - зашептала Маруся. – Значит, живут рядом с нами.

Ваня не успел ответить, – те мужики показались снова.

- Якушка тот наволок Ондреевской косил сильно два лета, - говорил один из них рассудительно, - лони да третьяго году!

- А меж тем пустошам... с тех пустых полянок и до реки с наберегом... - вторил ему другой, и ветром унесло следующие слова, только «бу-бу-бу» один голос. Минуту спустя мужики скрылись.

Больше не донеслось с той стороны ни слова, и крапиву с лопухами – петушиные джунгли – запорошило снегом, затянуло туманом белым.

Сорокоумовы переглянулись, посоветовались шепотом и решили навестить Веруню Шурыгину.

3.

На ощупь прошли они в сени, открыли дверь в избу как раз в тот момент, когда там что-то грохнуло и зазвенело. Слава Богу, что не керосиновая лампа – она висела высоко: Веруня на этот счет предусмотрительна. На полу же валялись опрокинутые скамейки и табуретки, громоздились корзинки и подушки, боевые позиции занимали ухваты и валенки; тут же что-то пролито, что-то рассыпано... Сама хозяйка спала на кровати.

Едва только гости перешагнули порог, как трое ребятишек, занятых то ли борьбой, то ли дракой, оглянулись на них почти с досадой: помешали им!

- Здорово, мужики! – сказал Ваня, окидывая взглядом поле сражения. – Что тут у вас происходит? Передел имущества или сфер влияния?

«Мужики» уже забыли свои распри перед лицом внешнего врага, они встали плечом к плечу.

- Дисциплина в этом доме совершенно расшаталась. Верховная власть спит на кровати, вольница гуляет – от такой демократии добра не жди.

Маруся сразу умилилась. Надо признать, в «ухарцах» есть что-то такое, отчего их, действительно, хочется потискать и погладить по головкам. Но не очень-то они на это падки, к ним поди-ка подступись.

- Веруня! Как ты можешь спать при таком шуме! – говорила Маруся, принимаясь за уборку. – Вставай, белый день на дворе.

- Ой, что-то заспалась я, - отозвалась Веруня хрипловатым голосом, медленно произнося слова. – Встать не могу – ни больна, ни здорова. Долит меня сон, не совладать...

Она повернулась на другой бок и, кажется, опять уснула.

Ваня поставил на ноги лежавшую табуретку, сел на нее посреди избы, огляделся.

- Петь топили, мужики?

- Не-а, - «мужики» дружно замотали головами.

- Корову доили?

- Не-а.

- Теленка, куриц кормили-поили?

Ответ был тот же.

- Так что же вы! Чем занимаетесь, если хозяйство в забросе?

Они переглядывались, поталкивая друг друга, шмыгая носами.

- Эх вы, мужики! На вас вся Россия смотрит с надеждой, а вы что? Отечество в опасности, а у вас баловство на уме.

Они его побаивались – это из-за шрамов. Даже старший, Илюша, посматривал опасливо. Но, стоявший рядом с братом Никишка, только заинтересованно моргал: какая-то еще Россия? Знать не знаю... Что касается белобрысого Алешки, тот и вовсе глядел вызывающе: а ты, мол, кто такой, чтоб тут распоряжаться?

- У нас хлеба нет, - сообщил Илюша.

- Как нет! Я же вашей матери три буханки дала! – возмутилась Маруся. – Неужели все умяли?

- Одну буханку мама офицерам скормила. Они проголодались.

- Каким офицерам? – опешили Ваня с Марусей.

- Которые у нас были, двое, - заторопился Никишка. – Грелись возле печи. Сабли – во! И звездочки на пятках.

Гости переглянулись.

- Куда они делись? – спросил Ваня.

- Сели на коней и ускакали.

- Вы видели коней?

- Да, в окно. И слышно было... кавалеристы, - вперебой докладывали братья.

- Мне тоже показалось, что у крыльца конские следы, - тихо сказал Ваня. – Но я подумал...

Что он подумал, не договорил, вышел. Вернувшись, доложил матери:

- Следы есть, но почти незаметны: снег осыпался.

- Посмотри, что я у них нашла, - тихонько сказала Маруся и протянула ему на ладони четыре винтовочных патрона. Он взял их, так же тихо спросил:

- Откуда?

- Отобрала... - она кивнула в сторону ребяташек. – Никита заколачивал вот этот, как гвоздь, в половицу, молотком по шляпке.

- М-да... Где они взяли этот товар? Насколько я могу судить, это настоящие боевые патроны.

- Наверно, гости подарили.

- Офицеры? Они что, тугο соображают?

- Небось, ухарцы у них стибрили. И не только эти.

Разговор между ними произошел быстро, ребяташки не слышали.

- Мужики! – бодро сказал Ваня. – Есть интересная игра, но вот этих штукек надо еще пять. Понимаете? Тогда состоится увлекательная партия.

Патроны лежали у него на ладони, новенькие, сияющие, будто золотые – они притягивали взгляд. «Мужики» молчали.

- Еще пять штук! – стал уговаривать Ваня. – Иначе не получится. Давайте, выкладывайте, и сыграем. Ну? Илья! Никита!

Они переглянулись и сказали чуть не в один голос:

- У нас больше нет.

Смотрели при этом честными глазами, просто невозможно было им не верить.

- Ну, хоть две штуки, а? Будет много грохоту, дыма и огня. Потом играйте уж без нас. Ну!

Они дружно помотали головами: нету, мол.

- Алешка, а у тебя?

Алешка замотал головой сильнее всех.

- Жалко... Ну, на нет и суда нет, - решил Ваня, пряча патроны себе в карман...

4.

Дымоход над трубой Шурыгиных пробивали вдвоем: Ваня и мать. Когда выбрались наверх, на волю, замерли, пораженные.

Прямо над ними было чистое небо, настолько густо усыпанное звездами, что это озадачивало. Тишина стояла оглушительная! – только потрескивало что-то благозвучно то ли в ушах, то ли в окружающем морозном воздухе. Вокруг простиралась равнина – белый снег уходил в темень, обретая едва за-

метный голубоватый оттенок. Казалось, равнина имела совершенно круглую форму, как грампластинка, и они, двое, совместно являли собой что-то вроде того штырька, что в центре ее.

- Красиво как... - сказала Маруся, вздрагивая и голосом, и всем телом.

- Ты озябла, мам?

- Нет... Это я от страха. Никогда не видела такого неба. Тебе не страшно, Вань?

- Вот если бы Полярная звезда съехала к горизонту, я испугался бы. Но она, слава Богу, на месте.

Они стояли рядом, только головы да плечи наружу; даже дыхание затаивали – так тихо было.

- Я не узнаю этого неба, - растерянно говорила Маруся. Ведь ни одного знакомого созвездия! Слишком много звезд, а некоторые очень уж крупны.

Над самым горизонтом бесшумно плыло то ли серое облако, то ли огромная птица. Впрочем, ни то, ни другое сравнение не объясняло, что же это такое было, но оно имело неестественную соразмерность в очертаниях – нет, это не облако.

Звезды исчезали, заслоняемые этим летящим объектом, а на его боку светились оранжевые огни, расположенные в линию; короткий луч щупал землю внизу – так плывущая утка выискивает на дне водоема корм.

Все отчетливей становились обтекаемые очертания небесного корабля, и словно бы сияние запечатлелось над ним... в форме угловатых парусов на трех высоких мачтах!

Несколько мгновений спустя, с необыкновенной отчетливостью Сорокоумовы увидели, как отделилось от него нечто белое и круглое, с просвечивающим внутри голубоватым шаром наподобие желтка в курином яйце: то есть середина, где полагалось быть желтку, была наполнена голубоватым светом. Оно стало плавно спускаться, пересекло линию горизонта, взрывая снег, на расстоянии этак в километре или даже менее... на фоне снега очертания его вырисовывались уже не так резко, хотя и вполне отчетливо. В голубоватой сердцевине можно было различить несколько человеческих фигурок... да, именно человеческих, - отчетливо видны были головы, руки, ноги...

«Яйцо» вошло в соприкосновение с поверхностью снега на расстоянии этак километра от деревни Лучкино и скрылось, утонуло. Тотчас же еще одно «яичко» отделилось, но не стало спускаться вниз, как первое, а заскользило наискось, приостановилось и двинулось дальше, после чего скрылось.

Ваня с Марусей проследили за его полетом, а когда оглянулись, большого корабля уже не было: то ли улетел, то ли растворился, растаял.

- Почему ты молчишь, Вань? – спросила потрясенная Маруся. – У меня ум за разум... Что это такое?

Он пожал плечами.

- Но ты же видел! Скажи хоть что-нибудь.

- Дело ясное: прилетел неопознанный летающий объект... с него сошли мужички в лаптях или босиком...

- Какие мужички?

- А вот те, что мы встретили давеча.

- Откуда же они взялись?

- Спроси что-нибудь полегче. Вот и белые офицеры тоже... может и они оттуда.

- Неужто в самом деле прилетели? Что ты такое говоришь, Ваня!

Маруся даже возмутилась, то ли на сына сердясь, то ли на «мужиков» да «белых офицеров».

- Не напрягайся, - посоветовал сын, - а то крыша поедет. Относись как к делу обычному. Подумаешь, корабль в небе! Подумаешь, инопланетяне в лаптях! Пусть гуляют... Завтра, глядишь, кваском нас угостят. Абсурд, конечно, но уж такова наша жизнь: все перевернуто с ног на голову.

Он хотел рассказать матери, как угодил давеча в чужую баню, но решил пока не делать этого.

5.

По пути домой неясная догадка или призрачное воспоминание мучило его: он видел, видел ранее этот плывущий по небу парусный дирижабль... и то, как от него медленно и плавно отделилось нечто меньшее по размеру, с размытыми очертаниями, похожее на яичко с мерцающим «желтком».

Где он это видел? Когда? Наверно, во сне...

И вдруг его озарило: да, он видел это! Когда мчался от Сухого Поля на своем мотоцикле, перед глубокой ручеиной с узким мосточком, глянул на небо по какому-то странному желанию – там было как раз то летящее, похожее и на дирижабль, и на плывущую утку, и... да бессмысленно искать сравнение! Его тогда поразило, что над этим огромным летящим объектом сияли на солнце белые паруса... как над кораблем времен великих географических открытий.

В то мгновение, когда мотоцикл потерял опору, Ваня увидел и отделяющееся «яичко»... На этом все и оборвалось.

Теперь ему казалось, что он близок к разгадке происходящего, но в чем она, эта разгадка, не понимал.

Придя домой, опять хотел подняться на крышу, наверх, и посмотреть еще раз, что там, но сон властно одолевал его. Лег

в постель – перед глазами знакомые созвездия, затерянные во множестве звезд.

А рядом – даже не за стеной, а совсем рядом! – слышался неторопливый мужской разговор – не двоих, не троих, а больше.

- Сметано сена в девяти зародцах возов на пять...

- Зародишки по два заколинишки, - закашлялся-засмеялся другой говорящий.

- На четыре сажени... да еще один на три сажени.

- У них возле Талова ручья в осьми заколинишках новочи-ста кошено осенью!

- По лугам да по ровным местам... ствол в два аршина – зовется дягиль-трава. Коленцами кривая, а лист яко же морков-ный.

«Заколинишки – что такое? – сонно думал Ваня. – Зарод, дягиль-трава – это знаю, а заколинишки что? А-а, небось, копна сена вокруг кола... Верно-верно».

А беседа, что происходила рядом, уже свернула и потекла в иное русло.

- Мы ж, сироты, мельницу строим, а работаем с Данилой-деверем да с Игнаткой... надобно человек осьмнадцать – двуна-десять.

- Ты затейщик делу, с тебя и спрос. Не справишься – пер-стом тыкать будут и смеяться.

- К вешницам да затворам потребно навозу конюшенного до полуста возов, ей-бо...

- Затевать да починать – чего легче! Я што хошь заквашу – поди-ка испеки.

Опять и кашель, и смех.

Мирный был разговор, шутейный, без обид. А чем закон-чился – то Ваня заспал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1.

Долго ли спал, коротко ли? Забота подняла его с постели. Опять непонятно было, то ли дневная пора наступила, то ли ночная тянется. Тихонько обулся, одел куртку, успевшую высох-нуть у печи. И хоть старался не шуметь, мать все-таки просну-лась:

- Вань, ты куда?

- Выгляну наверх, - отозвался он. – Со временем надо определиться: ночь ли, день ли.

- Петух пел... Или два петуха разом.

И то слава Богу. А то ведь раньше-то помалкивали, не ку-карекали.

Влез на чердак, оттуда на крышу. Тихо было – ни шума ветрового сверху, ни гула. Лестница стояла возле трубы; глянул вверх – небо черное, со звездами, значит, рано встал. Или день проспал и следующая ночь наступила? Поднялся по лестнице, высунул наружу голову.

Было по-прежнему морозно и безветренно. Очень даже морозно и совершенно безветренно. Опять полное безмолвие царило вокруг – так тихо, что слышался божественный шум роящихся звезд... Или это просто покалывало от мороза уши?

Звезды горели ярко, даже яростно и были крупны – не просто мерцающие источники света, а будто бы сияющие крупные бусинки-камушки, грани которых бросали в пространство живые пульсирующие лучи.

Ваня опять в восторженном ужасе смотрел вверх, словно видел небо впервые. Он совсем забыл о морозе, и напрасно: через минуту пришлось отчаянно тереть уши – они как-то скоро потеряли чувствительность и стали твердыми – этак и вовсе отвалятся, будто осенние листья с ветки.

Стал тереть руками в варежках сразу оба уха и вдруг замер: тонкий кисейный дождичек просеялся откуда-то из Млечного Пути, уплотнился, обретя очертания колыхающейся занавеси. Эта занавесь получила радужную подсветку – волны розового, фиолетового, слабо-желтого проходили одна за другой сверху вниз; местами цвет замирал, сгущался: розовый становился отчетливо красным, желтый переходил в зеленый.

«Северное сияние... Как это оно у нас явилось?.. Такого не бывало никогда...» – плыло в сознании.

Он прямо-таки разомлел от такой красоты – должно быть, потому и *затиндиликало* опять в ушах. И вдруг испуганно вздрогнул: над самым горизонтом, там, где деревня Боляриново и над нею созвездие Ориона, как бы опираясь на нее ногами, появилась фигура человека в свободных ниспадающих одеждах, вроде тоги, какие, если верить учебникам истории, носили когда-то древние греки и древние римляне, и в сандалиях на босу ногу. Ваня даже поежился; показалось, что стоит грек-римлянин прямо на снегу и можно легко представить себе, как ему холодно. Должно быть, этот человек давно стоял там, во всяком случае до того, как заметил его Ваня, да и не просто стоял, а перемещался и очень живо жестикулировал, разговаривая с кем-то. Легким дуновением ветра донесло какие-то слова, смысл которых разобрать было невозможно.

Повинуясь жесту говорящего, Ваня повернул голову и увидел его собеседника над селом Пилятицы, то есть над тем местом, где оно теперь погребено в снегу. Этот второй имел сла-

вянского типа лицо и был в рубаше-косоворотке, длинные волосы схвачены через лоб то ли обручем, то ли ремешком. Они стояли, обратясь друг к другу и беседовали через звездное пространство. Их фигуры были огромны, но не более половины занавеса, который к этой минуте поредел и почти исчез; они были подобны актерам на краю сцены перед зрительным залом. Однако же сразу отметил Ваня: хоть и выделялись они отчетливо, но были всего лишь отражением, как на киноэкране, то есть при всей их очевидности являли собой явную призрачность.

Они разом вскинули руки; та часть «занавеса», что еще была между ними, колыхнувшись, пропала, уступив место черному космосу; на нем, как на классной доске, написались, а вернее сказать, проявились, как на фотобумаге, сияющие письмена. То были знаки, похожие на цифры и буквы неведомого алфавита, - из скобочек, кружочков, треугольничков – каждый величиной примерно с ковш Малой Медведицы.

Легким мановением руки славянин заменил знаки, его собеседник таким же образом усилил их свечение, после чего оба продолжали говорить, доказывая что-то друг другу. Ваня ясно видел их лица – они были оживлены, улыбались, разговор явно увлекал их. И не было им никакого дела до него, маленького человека, высунувшегося из своей снежной норы подобно мыши. Всплеснув руками, они направились друг к другу и, сойдясь, исчезли. И письмена тоже.

2.

Ваня продолжал стоять, не двигаясь и чувствуя себя оскорбленным: его дурачили... С ним играли в игру, правил и цели которой не объясняли. «Это неблагоприятно», - подумал он.

А мороз припекал. Спohватившись, опять принялся он оттирать руками в варежках свои отвердевшие уши, но случилось новое явление: звездное небо вздрогнуло, звезды стронулись со своих мест и стали перемещаться, будто играя, - совсем, как снежинки. Ну да, они и превратились в снежинки – снегопад начался там, в небе. Он усиливался, и по горизонту уже словно бы возрастал пышный покров – пространство неба как бы продолжало пространство снежной равнины на земле. Ваня так и держал руки на ушах, увлеченно следя: там, глубоко в небе, шагал паренек в знакомой куртке, расстегнутой у ворота, а на шее у этого парня был знакомый шарф, за плечами сумка... то есть там шел он, Ваня Сорокоумов, к своей деревне Лучкино. Он шел взрывая легкий снег ногами, и вот что поразительно: чуть в стороне от него, без дороги, шли еще двое; одеты они были в стеганые куртки, пошитые заодно со штанами – довольно странно, необычно; с плеч на голову у каждого из них накинут был капю-

шон, отчего головы казались как бы соединенными с плечами. Эти двое то и дело оглядывались на шагающего с сумкой.

Видно было, как мгновенно вытаял в снегу там, на небе, холмик с зеленой травкой и луговые васильки цвели на нем с ромашками и дремой, и шмель гудел... Человек с сумкой протянул к цветку руки... но вдруг осыпался снег, скрывая маленькое лето...

Ваня засмеялся, стоя в своей норе и глядя на свое изображение. Смех его прозвучал в тишине, как что-то неуместное, и он осекся.

И за всем этим наблюдали, совещаясь между собой, двое, стоявшие в стороне.

...Снегопад на небе прекратился, живые изображения исчезли. Опять проступило почти черное небо и яркие звезды на нем.

Все увиденное настолько озадачивало, что Ваня в онемелом состоянии спустился на чердак, потом по лестнице в сени, тихонько вошел в избу, медленно разделся, лег в постель и закрыл голову одеялом.

Происшедшее совершенно не поддавалось его разумению; он инстинктивно понял: сейчас ему надо уснуть, чтобы все это стало сном.

3.

От дома Сорокоумовых до телятника протянута была бечевка, которую разматывала Маруся, когда торила подснежный ход. Телятник располагался за деревней, до него недалеко, но и не близко. Маруся боялась, что заблудится в снегах, потому то и дело возвращалась назад по проделанному ею ходу: торит, торит, потом отступит, оглянется – то ей казалось, что ход уводит ее вправо, то делает опасное искривление влево. Сзади – шшух! – вдруг обвалился снег. Маруся ахнула, стала разгребать обвал и, слава Богу, справилась с этим делом быстро. Вернулась к крыльцу в страхе: этак-то уйдешь от своего дома, а снег сзади осыплется – и заблудишься насовсем!

Вот она и придумала: взяла моток бечевы льняной, привязала конец к балясине крыльца и пошла по проделанному ходу, разматывая его. Так-то надежней: по бечевке всегда найдешь родной дом, даже если опять обвал случится.

Она столь осмотрительно и аккуратно вела свой ход, что угодила как раз к теплушке телятника, к самой двери в эту теплушку. И вот даже теперь, когда он был готов, бечевочку не снимала.

Сын по этому поводу выразился глубокомысленно:
- Путеводная нить Ариадны...

С некоторых пор он стал подозревать, что греческую мифологию сочинили в деревне Лучкино, а потом уж она пошла гулять по белу свету. Дело, небось, обстояло так: заваливало тут всё снегом и тысячу, и пять тысяч лет тому назад, люди пробирались от дома к дому по бечевке. На этот счет, конечно же, было множество всяческих сказок. И вот проклятые степняки-кочевники, жившие только грабежом и разбоем, сделали набег на мирное Лучкино и увели здешних пахарей да охотников в полон, продали через Крым в рабство на острова Эгейского моря, на Ближний Восток и в Египет. От пленников там услышали и переложили на новый лад одну из здешних баек – как якобы какой-то богатырь ходил по лабиринту к чудовищу, похожему на быка и человека, а чтоб не заблудиться, царская дочка дала ему такую вот льняную бечевочку.

Однажды Ваня изложил свое подозрение матери, но Маруся в мифологии была не сильна, оспаривать его не стала, тем более, что неясно было, то ли сын шутит, то ли всерьез говорит.

А в связи с этим у Вани родилось еще одно очень важное предположение, которое взволновало его, поскольку затрагивало религиозное чувство, пробудившееся в нем после несчастья. Так вот он предположил и даже уверился в том, что мать Иисуса Христа, Мария, была из пленниц-славянок. Она еще маленькой девочкой пленена была и увезена в неволю. Именно за страдание и избрал ее Бог в матери сыну своему, за то, что умудрена была этим страданием, а иначе необъяснимо. Иначе откуда же у нее такое желание быть покровительницей именно русской земли? Только потому, что здесь ее родина!

- Ты думаешь, она покровительствует нам? – осторожно спросила Маруся.

- Еще молимся о богохранимой стране нашей... - со странным выражением произнес он. Так в церквах поют: я и по радио слышал, и по телевизору. Богохранимой... А Божья Мать искони считается спасительницей и хранительницей русской земли и русского народа, как народа избранного. Это общеизвестно.

- Почему же, Ваня, такие беды на нас? – тихо произнесла Маруся. – То голод, то война, то раскулачивают да расстреливают... а теперь вот снега упали, засыпало.

- Не знаю. Вот встречу Богородицу, спрошу.

- Где ты ее встретишь?

- Говорят, она приходит... странствует по нашей земле. – Подумал, добавил: - Небось, мы ее часто встречаем, да не узнаем. Она ведь может явиться и нищей старушкой, и молодой женщиной, но не так-то легко распознать, коли она того не хочет. А захочет – откроется.

4.

Маруся была задумчива. Она не сразу поняла, когда он спросил:

- Ну, а как там наши минотаврики в телятнике?

Отозвалась после паузы:

- Спят. Сходи, Вань, проведай их, а? Ума не приложу, что с ними делать. И Веруня, как на грех, тоже спит...

Были когда-то в Лучкине и коровник, и свинарник, и конюшня, и кузница. Говорят, даже птичник был – при коллективизации собрали со всех дворов кур в один сарай. Все с годами утратилось – тока, сараи, амбары, скотные дворы – будто в воздухе растаяли или растворились в земле. Остался один телятник.

Ваня открыл дверь и попал в сонное царство. Ни один из телят не мыкнул, хотя слышно было в темноте их дыхание.

- Минотаврики! – он поталкивал одного за другим ногой. – У вас что, зимняя спячка, как у медведей? Вставайте! Нечего разлеживаться!

Телята нехотя поднимали головы, моргали сонными затуманенными глазами... Нет, они не выглядели больными – только заспанными.

Держа фонарь в одной руке, другой трепал за уши, светил им в глаза:

- Телятко, ты чего? Соображай хоть маленько: белый день на дворе. Сколько можно дрыхнуть! Спишь – не живешь.

Ничто не помогало: ни укоры, ни свет им в глаза.

- Ладно, ребята, голод не тетка. На голодное-то брюхо недолго спится – это я по себе знаю. Встанете, как миленькие.

Душновато здесь – надо бы пробить вентиляционный ход наверх, или даже два. Ваня потолкал ворота, через которые летом выгоняли стадо на пастбище, растворил их, но вместо снега за ними оказалось новое пространство... озадаченно перешагнул порог и увидел ряд конских стойл, и лошадок, смотревших на него сквозь решетки кормушек. И самое удивительное: он, прекрасно знавший, что нет и не было в Лучкине лошадей во всю его жизнь, теперь почувствовал, что все это ему знакомо! Он знал этих лошадей даже по именам! Вот Метелица, серая кобыла, широкогрудая, большая, бегать не любит, а может быть и не умеет – она просто работяга.

- Метелица! – позвал Ваня, и та радостно всхрапнула ему навстречу. – Метелица, Метелица, - повторял он; у него изменился голос – стал мальчишески тонким и звонким.

Вошел в стойло, поднял фонарь повыше – как вдруг тонка стала его рука! – посветил: и грива, и хвост у лошади пышные, белые, а сама она серая.

А в соседнем стойле узнал еще одну лошадку – это Ворона. Что самое удивительное: и та узнала его, посунулась к нему мордой. Погладил Ворону, ощутив теплые подвижные ноздри, погладил и Метелицу детской своей рукой по шелковой шее и вышел, закрыв за собой дверцу.

Тут он понял, что вовсе не Ваня он, а зовут его Родька...

Стоя с фонарем посреди конюшни, он увидел себя одетым в заплатанную ватную фуфайку явно с чужого плеча, а на ногах у него вдрызг изношенные валенки с калошами-тянучками, и не удивился.

Это была колхозная конюшня. И вроде бы, лошади общие. Но Метелица ему роднее всех, потому что немного раньше она стояла во дворе их дома, то есть его, Родькиного дома.

Ваня, ставший Родькой, сел на порожке стойла и долго сидел, бездумно рассматривая при свете фонаря свои детские ручки, валенки с калошами... сидел, вдыхая такой знакомый запах конюшни и ждал конюха Макара, который сейчас должен прийти.

В темноте стукнула копытом еще какая-то лошадка. Казалось, сейчас выйдет из сенника дядя Макар, конюх, и скажет: «А-а, опять пришел!»

Ваня, ставший Родькой, прошелся по конюшне, посмотрел на Милку – скоро будет жеребиться, потом, виновато отводя глаза от других лошадей, отнес маленькую охачку клевера Метелице, бросил ей в кормушку и направился к воротам. Как только перешагнул порог, все изменилось – он оказался в телятнике, а конюшни не было.

5.

В растерянности со странной улыбкой сел на чем пришлось и так сидел, поглядывая в ту сторону, где ворота... в конюшню!

Маруся застала его сидящим здесь, на порожке...

- У Анны была, - сообщила она. – К ней нынче с утра пораньше нищий заходил.

Ваня посмотрел на нее вопросительно. И столь же вопросительно посмотрела на него мать.

- Какой-то старичок, - осторожно и недоуменно добавила она. – Между прочим, босой, как по летнему времени. Я видела его мельком, когда он выходил от Анны. Та говорит: нищий, мол... ходит по миру, Христа ради. Краюшку хлеба умял у нее и полкринки молока выпил.

- До чего это меня умиляет! – возмутился Ваня. – Такая добрая старушка! Кормит всех, кто ни зайдет к ней. Доброта эта, между прочим, за мой счет. Я буду носить хлеб им на собствен-

ном горбу, не ближний путь – пять километров, а они этот хлебушек легко так, непринужденно раздают кому угодно. Одна подкармливает каких-то белогвардейцев, другая – нищих. Легко быть добреньким: я б и сам сидел да раздавал направо и налево. Кто б только мне подносил!

Маруся удивилась неожиданному его возмущению. Это Ваню рассердило еще больше.

- Самое замечательное: я получаюсь жадный, скупой и прижимистый, а они все – такие ласковые, великодушные! Я – жмот и скряга, они милосердны!

Маруся была с ним в общем-то согласна. Одно дело – когда кто-то рядом занят безвредными делами: то лошадку в дровни запрягает, то разговаривает или даже поспешает в отъездные поля с охотой своей – Бог с ними! Но совсем иное дело, когда приходят этак и лопают за здорово живешь хлеб с молоком.

- Попрошаек развелось: то офицеры, то нищие, – ворчал сын. – Скоро и мы по миру пойдем.

- Двор у нее обрушился, – словно оправдывая Анну, сообщила Маруся. – Не выдержал, снег его придавил. Трех куриц до смерти. Того и гляди, саму ее придавит, как курицу.

Помолчали оба, размышляя.

- Сходи вон туда, – кивнул Ваня на ворота. – Я подожду.

Маруся странно смутилась и отозвалась не сразу:

- Я была там, Вань.

По ее ответу ясно было, что она видела все то, что и он.

- Не знаешь, что тут и думать, – вздохнула Маруся. – У Махони во дворе петух появился... с двумя головами. Туловище одно, а шеи две и головы тоже две, обе кукарекают.

Тут Ваня оживился:

- Что, неужто двухголовый?

- Двух.

- Человеческим голосом не разговаривает?

- Пока нет.

- Пойдем посмотрим...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1.

Подходя к дому Махони они услышали залиvistый петушиный крик. Пели сразу два петуха, один высоко и звонко, с жавороночьим самозабвением и восторгом, а второй в лад ему голосом более низким и унылым, зато с орлиным грозным клекотом. Немного погодя, пенье повторилось. И в первом, и во вто-

ром случае это не было простым «кукареку», а скорее авторская обработка обычного петушиного горлодрания, переложение его певцами-профессионалами на музыкальный лад, так что это стало мелодией почти гимнической.

- Ну, если это гимн, дела наши не так уж плохи, - пробормотал Ваня, поднимаясь на крыльцо, Маруся за ним.

Они вошли в избу – Махоня сидела на полу в окружении «своих людей» и весело смеялась.

Завидев вошедших, человечки тотчас утихомирились и застенчиво подались кто куда – под лавку, под кровать, под голбец.

- Ой, я уморилась с ними, – выговорила Махоня сквозь смех. – Они тут такой спектакль затеяли! Ты подумай-ко, Маруся: один из них представлял Зорьку, другой меня, третий кошку, четвертый Иван Иваныча.

Рядом с Махоней, нахохлясь, сидел красный петух, с видом убитым, словно больной... «Бедолага совсем уморился, изнемог, - так подумал Ваня. – Что ж, пенье – дело нелегкое».

- Ну вот, а мне сказали, что у тебя две головы, - сказал ему Ваня, садясь рядом.

- Двухголовый во дворе, - радостно сообщила Махоня. – Он совсем заклевал моего. Я уж забрала его в дом, вот он и сидит тут на лавке. Наверно, околеет. Ишь, глаза закатывает.

- А такой хороший петух был! – пожалела Маруся.

- Ему б водочки, он ожил бы, - сказала бодро Махоня. – Да нету у меня. Он винные ягоды больно уж любит. Наклюется – и ну петь, да так-то громко!

- А что, разве там, во дворе, действительно... с двумя головами? – спросил Ваня, не удержав интереса.

- А пойдёмте, покажу.

Вышли во двор, Махоня с лампой, - верно, по соломе возле Зорьки в сопровождении нескольких куриц гордо вышагивает двухголовый... В общем-то петух как петух, обыкновенного роста, только над туловищем у него шея раздваивалась; место раздвоения обрамляли очень живописно белые, голубые и красные перья. И вообще это был красивый петух, нрава дерзкого, воинственного и предприимчивого.

- Цыпы-цыпы-цыпы, - позвала Махоня и бросила перед собой горсточку зерен.

Курицы подбежали тотчас, без гордости, а двуглавый подошёл, не спеша, с достоинством, и стал клевать, вразнобой кланяясь обеими головами.

- Откуда он взялся? – спросил Ваня.

- Не знаю, - беспечно отвечала хозяйка. – Просто появился у меня во дворе и сразу же стал задирается с прежним. Заклевал его совершенно ...

- Что ж, у тебя теперь и цыплята будут двухголовые? – спросила Маруся, улыбаясь.

- А вот поглядим.

«Что бы это значило? – размышлял Ваня. – Просто шутка природы или всё-таки знак свыше? Не может быть, чтоб просто вот так».

Пока они стояли и разговаривали, в избе хлопнула дверь. Махоня ушла, потом вернулась во двор, крестясь:

- Господи... нищие пошли... как в голодные годы... после войны.

- Старичок? – спросила Маруся.

- Нет, паренёк нездешний... попросил поесть. Дала ему яичко, он и ушёл.

Ваня с матерью переглянулись.

- Разве всех накормишь! – вздыхая, продолжала Махоня. – И так у меня целая орава нахлебников, каждому что-то дай. Вон этот... в два клюва ест.

- Зато он поёт в два голоса! – заступилась Маруся.

- А что за паренёк? – спросил Ваня.

= Да Бог его знает! Не видела его никогда. Вот твоего возраста, только одет больно уж бедно. В Ерусалим, говорит, иду, на богомолье ко Гробу Господню. Обет, мол, такой дал Богородице. Теперь, небось, к Ольге пошёл. Что ему одно-то яичко! Я посоветовала к ней зайти.

2.

Ход сообщения, так просто, так любовно – иначе не скажешь! – сделанный Митрием Колошиным возле своего дома, пересекал дорогу, а за нею сразу сужался и плошал, становился похожим на нору – здесь граница владений Митрия и его сестры, горбуны Ольги. Свою территорию Колошин обихаживал, на сопредельную не покушался, не хватало сил.

В кривом Ольгином ходе было тесно, гораздо сумрачнее и почему-то набросано соломы – наверно, чтоб не скользко было. А может, чтоб верней угадывать этот ход, если снег осыплется.

- В этой норе сам станешь горбуном, - проворчал Ваня.

Мышь отчаянно пискнула у него под ногами и зарылась в снег. Сзади послышалось: «Ой!» – крик отчаянный, словно не мышь это, а волк, и он сейчас съест обоих.

- Мам, при наших-то обстоятельствах тебе надо быть похрабрее, - сказал Ваня, обернувшись к матери.

- Знаю, что надо, - отвечала Маруся в тон ему. – А как? Чего нет, так откуда взять?

Они остановились перед хилой тесовой дверью: тут крыльцо. В доме этом Ваня, кажется, не бывал никогда. Ольга жила в

нем тихо, сама в себе, надолго пропадая куда-то и появляясь вновь. Говорила она обычно только о божественном и все события жизни истолковывала применительно к воле Божьей, к божественному промыслу.

Год назад, когда погиб на реке, провалившись вместе с трактором под лед, отец Вани, Ольга пришла к ним, принесла икону, повесила в красном углу и лампадку перед нею зажгла. Сделала она все молча, перекрестилась, после чего велела заплаканной, потерявшей себя в горе Ваниной матери встать рядом и повторять слова молитвы. Так они молились долго, и с этого дня Маруся стала как бы выздоравливать. Да и ему, Ване, стало легче. Теперь у Сорокоумовых лампадка горела по большим праздникам, о которых они узнавали от той же Ольги, и Ваня почитывал кое-какие книги, приносимые ею.

- Вся деревня – система нор, каждая заканчивается гнездышком-домом, - ворчал он теперь, пока отряхивались от снега. – Есть в этом что-то унижительное. Хочется найти виноватого и дать ему по морде.

- Вот уж верно, Вань, - отозвалась Маруся.

Из подснежного хода они попали в сени, нащупали тут дверь в избу, вошли.

У Ольги за столом сидел гость... это был тот самый нищий, что заглянул в класс, про которого сказано было, что он сошёл с картины художника Перова и отправился *по миру*. Нищий хлебал деревянной ложкой из большой миски – в избе пахло кислыми щами, небось, недельной давности. А сидел он, не раздевшись, в нелепой своей одежде, шапка лежала рядом с ним на лавке – весь он был словно росой покрыт: обтаял.

Хозяйка расположилась напротив гостя и смотрела на него отнюдь не жалостливо, а с интересом и даже почтительно. А тот говорил:

- ...и приходят в мыльню, глядают и видят на попеле след, глаголят: приходили-де к нам навья мыться...

На вошедших они оглянулись озадаченно, словно те сквозь стену проникли.

3.

В избушке Ольги тесненько, потолок низкий, в углу светили сразу две лампадки; икон много – они занимали не только передний угол, но выстроились рядами и по стенам. Какой бы дом в Лучкине ни разрушили, чья бы семья ни уезжала отсюда – иконы несли горбунье, вроде как на сохранение; тут для них самое верное место.

Конечно, при таком их количестве одной лампадки мало, вот и зажжены были сразу две, и висела еще самая большая, не

зажженная. Слабые огоньки выхватывали из тьмы суровый лик Спасителя, страдающие глаза Богородицы, и еще кто-то строго и взыскующе глядел на вошедших, наверно, Николай-угодник. Керосиновая лампа, висевшая на стене, освещала большой календарь с портретом Патриарха Всея Руси Алексия Второго в праздничном облачении.

- Не хотите ли щец моих похлевать? – предложила Ольга вошедшим.

Это формула лучкинской вежливости, на которую Ваня отозвался привычно: мол, только что из-за стола, следовательно, сыты.

- Ну, посидите, послушайте, что он говорит.

- Да он по-нашему ли лопочет? – спросил Ваня, с кривой усмешкой окидывая нелепую фигуру Ольгиного гостя.

- Который человек студенаго естества и сухаго, то и молчалив и неверен, а я борзо глаголю, - дружелюбно отозвался на это нищий и улыбнулся. По-хорошему улыбнулся, вполне дружески, так что Ваня сразу почувствовал расположение к нему. По-косился на мать – та смотрела во все глаза и тоже с улыбкой.

Да, это был, пожалуй, Ванин ровесник; Махоня не ошиблась. Лицо у него очень обветренное, багровое пятно на щеке – обморозил. Да и ухо одно толстовато – значит, тоже морозцем прихватило.

- То божий человек, - негромко сказала Ольга Марусе, словно это всё объясняло.

Что-то неуловимо знакомое было в лице его, словно он из соседней деревни или даже родственник, не кому-нибудь, а именно Сорокоумовым. Но гадать об этом можно долго и без всякого толку: на кого-то похож и все тут.

Ольга и этот нищий продолжали разговаривать, причем в речи не только у него, а и у нее то и дело звучали непривычные уху слова – *молвить, издаличе, лепо, прибыток, лопотина, келарь, рядом...* Какого-то *мирянина Якунку* вспомнили они, потерпевшего от птичьей напасти.

- Редкий год проходит, чтоб воробьи не разорили! – сказал борзо глаголящий так серьезно, что Маруся по-девчоночьи засмеялась.

Взгляд Ольги остановил ее смех: что тут, мол, смешного, когда у людей горе! Слегка смутясь, Маруся отодвинулась в тень.

А те продолжали свою беседу.

- Третьяк Иванов дает за подымное в таможенную избу по пять рублей в год, - фраза выломилась из общего строя, удивив Ваню этим самым «подымным».

- Откуп в казну? – уточнила Ольга.

- И с кладьбы толико, - подтвердил собеседник.

Шапка парня была грубо пошита из толстого сукна... или ее сваляли из шерсти, как валяют валенки? На боку холщевая грязная сума висела самым жалким образом; рукавицы дырявые заткнуты за веревочный пояс. Но держался нищий с достоинством, вот только иногда на портрет патриарха оглядывался смущенно, явно чувствуя неловкость оттого, что хлебает щи в присутствии его.

- А отец Досифей? – нетерпеливо вторгалась в рассказ Ольга. – Неуж судит да рядит не по Христовым заповедям?

- В монастыре многое число иноков его наветом различными муками смерти предано, - отвечал он ей.

- Эко Бога-то не боится! – горбунья качала головой, негодуя и осуждая. – Ну да ничего, на Страшном Суде спросится и с Досифея.

- Гордыня его обуяла – то от дьявола, грех великий, - сокрушенно сказал ее собеседник.

Ваня смотрел на него блестящими глазами. Подкова на его лице проступила ярко, как бывало всегда в минуты возбуждения или воодушевления.

- А урожай в ихнем монастыре как? – спрашивала горбунья.

- Мраз поби в жатву, а после стояста неделе теплы вельми, - бойко выговаривал нищий. – А летось снег паде на Никитин день... и всякое жито под снег полегло, и не было бысть кому жати, люди померли.

Ольга опять покачала головой и горестно вздохнула.

4.

Гость доскреб в миске, неторопливо облизал ложку, встал, перекрестился на иконы в переднем углу и, поклонясь хозяйке, молвил... не произнес, а вот именно молвил смиренно:

- Спаси Христос.

И та ему поклонилась, сидя:

- Не на чем, милый человек.

Шапку свою он уже держал в руках.

- Пойду я.

- погоди, я тебе с собой дам, - сказала Ольга, поспешно уходя в кухню. – Присядь пока.

Нищий сел на прежнее место, с интересом посмотрел на Ваню и Марусю, равно как и те на него смотрели.

- Ты почему лба не перекрестил, раб Божий, когда вошёл? – тихо спросил он у Вани. – Или нехристь? Тремя перстами крестишься или двумя?

- Одним, - ответил Ваня вызывающе.

Нищий нахмурился, что-то прошептал, вроде как «свят-свят», и покачал головой.

Больше всего Ване хотелось подойти к нему и потрогать хотя бы за рукав его заплатанной одёжинки. Чтоб убедиться, что этот нищелюб есть на самом деле, что он не тень, не призрак, какие приходят во сне или померещатся въяве.

- Ты кто такой? – спросил Ваня в наступившем молчании.
- Странник, - ответил он кратко.
- Откуда ты?
- Я с Пинеги. Река такая, ведашь ли?
- Ведашь... Как тебя зовут?
- Овсяник, Гаврилы-гуменщика сын.
- Овсяник? – переспросил Ваня, словно пробуя имя на вкус. – Это что, прозвище такое?
- Крещен Зосимой, а кличут Овсяником. Так приобьк.
- Что, и мать так зовет? – удивилась Маруся.
- Матушка сама и нарекла. Потому как родила меня в овсах.

Помолчали. Овсяник смотрел весело, дружелюбно – это располагало к беседе.

- Странник – это такая профессия, - объяснил Ваня как бы сам себе и матери. – По-нашему – бомж, то есть человек без определенного места жительства. Иначе говоря, бродяга.

- Не бродяга я, - слегка обиделся Овсяник. – Иду в святую землю по обету. Про обетованье ведашь ли?

- Да ладно, - небрежно сказал Ваня. – Знаем мы эти сказки, не глупей тебя. У каждого бездельника свое оправдание.

Овсяник самолюбиво нахмурился, даже головой качнул укоризненно.

- Мати моя болела сильно, трясовица у нее приключилась, - стал объяснять он, отводя подозрения и тем самым оправдываясь. – Я молил Богородицу: яви чудо, исцели матушку мою – пойду поклониться Гробу Господню в город Ерусалим. И вот не чудо ли: мати со смертного одра встала здоровой... ну и благословила меня.

- Ты хоть знаешь, где он, Иерусалим? На карту посмотри.

- Язык хоть на край света доведёт. Чего тут не знать! От Киева по морю или берегом на Царьград, да по лукоморью, да на корабле. Бог не оставит своей милостью.

Он перекрестился.

- А если не будет корабля? Пойдёшь по воде, яко посуху?

- Море без кораблей не бывает.

Овсяник посмотрел при этом на Ваню, как на неразумного.

- А по-каковски ты будешь там разговаривать? Ведь там народы иные, а ты чужих языков не разумеешь.

- Обучусь, - сказал он строго. – Я грамотен.

- Как это мать отпустила тебя в такую даль! – ужаснулась Маруся. – Ведь это же не ближнее место.

Только теперь Ваня заметил, что обут Овсяник... в лапти. И шапка его, и пальтуха серая, измызганная удивляли, но лапти окончательно доконали.

- В такой-то обуви – и в Иерусалим? Ноги износишь по самые колени.

- Ничего, Господь не оставит, - убежденно повторил паломник. – Эва сколько верст одолел! По Двине шел, лесами. В Кирилловом монастыре три недели прожил: рука болела – медведь мне два пальца отгрыз.

- В берлогу к нему залез?

- Искушение мне было: нашел в лесу двух медвежат, одного и взял. Бес попутал: думал, товарищ будет мне в дороге. Обучу, мол, его чему-нибудь, я видел таких... Ан медведица кинулась... Локоть погрызла и два пальца напрочь.

Верно, на левой руке у него не было указательного пальца и мизинца.

- Кирилловские монахи святой водой лечили, – теперь здорова рука. Ладно, хоть не нога! Если б охромел, разве дойти до Палестины.

5.

Конский топот и свист донеслись откуда-то издалека, потом гортанные крики и женский визг.

И затихло все.

- Татарва разгулялась, - прошептал сам себе Овсяник и с суровым лицом, обратясь к Ване: - Басурмане у вас. Ведашь ли про то? Али тебе до того дела нет?

- Это слуховой обман.

- Встали табором у реки... верстах в десяти отсюда. Сходи да погляди, узнаешь, какой это обман. Они тебе петлю на шею и станешь рабом.

Ваня с Марусей переглянулись: как, мол, к этому относиться? Но видно было, что Ваня задет упреком, что-де ему до врагов дела нет.

- Разброд и шатание в русской земле – вот они и явились, - продолжал Овсяник. – Это как болезнь: ослаб человек, тут беси его и осаждают.

- Что ж, пусть сунутся к нам в Лучкино – возьмемся за топоры, - сказал Ваня тоже сурово. – А ты в такое время решил уйти? Тебя, что же, нашествие чужой рати не колышет?

- Я по обету, - напомнил Овсяник. – В Святую землю.

- Разве тебе наша Русская земля не свята, что ты иной решил поклониться?

- Свята... потому и затеял, - отвечал Овсяник тихо. – Я о ней помолюсь у Гроба Господня.

Опять донесся до них издали тревожный конский топот и крики большого числа скачущих. В избе у Ольги затихли.

- Блазнится, - нерешительно сказала Маруся и посмотрела на сына.

- Не слушай их, они тёмные люди, - решительно сказала Ольга. - Живут – как трава растёт. И много таких! Ни в единого сущего Бога не верит никто, ни в Сына Его, Спасителя нашего, ни в Матерь Божью Пречистую. Они и перекреститься толком не могут. Про молитвы молчу: не знают ни одной. Я не про тебя, Маруся, я вообще. Ругаться матерно учатся у материнской груди, песни похабные петь – тоже самое, одеваются бесстыже, а молитвы для них – пустая тарабарщина.

Маруся однако была смущена. Да и Ваня смутился, хотя насчёт матерных слов и похабных песен сказано было не о нём.

- И снега зыбучие, и дьяволы искушения, и все беды наши – то кара Божья за семьдесят лет безверия и развратной жизни, - продолжала Ольга. – Грех на нас великий: надругались мы и над родной землей, и над верой прадедов наших и над могилами их, и над душой своей. Теперь вот... слава те, Господи, за тяготы, что посылаешь нам в искупление. Значит, не совсем лишены мы милости твоей.

Она перекрестилась на иконы.

- Видел я: святые православные храмы разорили вы, - печально отозвался Овсяник, - иконы осквернили, монастырские обители разрушили, монахов разогнали, пастыри в безвестных могилах лежат... Как моровое поветрие на Руси, подобное чуме или оспе. Нет, хуже: идолов понаставили повсюду да и молитесь на них, как язычники.

- Истинно так, - в тон ему сказала Ольга и сунула в его суму сверток. – Потому и пагуба на русской земле: злоба да зависть в людях, корысть да вражда.

- Спаси Христос, - Овсяник поклонился Ольге поясном. – Бог милостив. Он возлюбил народ наш, потому и кару его за сугубое безбожие да невежество восприемлем, как награду. Он не оставит нас.

- Сама пошла бы с тобой, да сил нет, - сказала ему Ольга. – Мне б до ближнего храма дойти помолиться... а до Гроба Господня не дойти.

Овсяник обернулся к сидевшим и – тоже с поклоном смиренным:

- Прощайте... Храни вас Господь и Пресвятая Богородица.

Ваня смотрел на эту сцену, как на некое действие, в котором он хотел быть участником, но его не принимали. Он был отстранён.

6.

- Святой человек из него будет, - тихо сказала Ольга, когда Овсяник вышел.

- Не потеряется ли в дальних землях? - усомнился Ваня.

- Господь его не оставит.

Ваня с сожалением запоздалым укорил себя: «Не так я говорил с ним... не надо было так». Хотелось выбежать следом за Овсяником, вернуть его и продолжить разговор. Откуда он явился? Как ему вообще живется? Одет плохо... Может, подыскать что-нибудь из одежды да обуви получше?

- Пристыдил он меня, - тихо сказала Ольга себе самой. – Паренёк молоденький, а уж свой подвиг совершает.

Ваня вышел из её избы, торопливо прошел подснежным ходом...но не было Овсяника.

Кто-то в снегах рядом прошедший сказал озабоченно:

- Люди с поля жатву свозят... млачением житу грозят...

- Сумасшедший дом, – сказал этому мимоидущему Ваня. – Я отказываюсь что-либо понимать.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ**1.**

Он выглянул из норы над своим домом, то есть просто высунул голову наружу и тотчас подался назад: прямо перед ним на сахарно-белом снегу сидел угольно-черный грач... нет, не грач, а ворон! – и грозно смотрел на него то одним, то другим глазом. Он был так близко, что, пожалуй, его можно было схватить рукой, но такого желания почему-то у Вани не возникло. Встреча оказалась неожиданной для обоих, но ворон чувствовал себя увереннее; он сделал движение – того и гляди клюнет в глаз – каркнул оглушительно и отпрыгал в сторону, но не взлетел. Каркнул еще раз, грозно, словно предупреждая о чем-то, раскинул крылья и взлетел-таки, стал удаляться, при этом на лету, вроде бы, оглядывался.

Кого он тут поджидал? На что надеялся? Что ему тут надо? Или кем он послан был? И не слишком ли велик – с гуся?! Разве таковы вороны?!

С небес светило блещущее солнце: снег, как ему и полагается, мерцал разноцветными звездочками; легкий морозец припекал лицо. Самая лыжная погода, а время... по-видимому, еще утро.

Стоя на лестнице теперь, при солнечном-то свете, Ваня выглядывал из своей норы, как из люка всплывшей подводной (подснежной) лодки; похлопал по снегу рукой – поверхность его оказалась твердой: то ли наст сковал снежное поле, то ли так уж уплотнило ветром. Постучал кулаком – крепко. Вылез, сделал шаг, другой, потопал ногами – наст чуть крошился поверху, но был прочен, словно лед. Значит, можно по нему ходить.

Вытащил из норы лестницу – в случае, если где-нибудь провалится, она может сослужить спасательную службу.

Ах, как бело кругом! Ветер чуть веял, не усиливаясь и не ослабевая, ровненько. А чего ему ровно не дуть, если вокруг никаких препятствий – ни лесов, ни холмов – равнина, как столешница.

Не расставаясь с лестницей, Ваня шел осторожно, отыскивая хоть какие-нибудь приметы заваленной снегом деревни. Над домом Анны Плетневой заметно просел снег – как над заброшенной могилой.

Угадывая под снегом деревенскую улицу, нашел вертикальный ход над домом Колошиных - и- него курился дымок, пахло вкусным варевом: щи с мясом сегодня у Митрия Васильича. Сам варил или Катерина все-таки встала?

Недалеко от Колошиных еще одна нора в снегу, узкая, не толще трубы самоварной – из нее хоть и очень слабо, однако же различимо пахло горящими свечками, какой-то благоухающей травкой и даже, вроде бы, ржаными лепешками – небось, просфорки пекла горбунья Ольга. Не праздник ли какой сегодня? Попраснодовать неплохо бы по какому-нибудь случаю, время самое подходящее.

Над следующей норой Ваня нагнулся и тотчас услышал глубоко внизу звонкие голоса, что-то грохнуло там и разбилось – стеклянные осколки зазвенели. Ну вот, еще одно происшествие в длинной череде больших и малых.

«Только бы избу не подожгли, пока мать-то спит!»

Над тем местом, где дом Махони, воздух струился, искажая линию горизонта. Ага, тут печь уже протопили, но вьюшку еще не закрыли. Интересно, как поживают «Свои люди»? Чем они заняты? Может, откочевали куда-нибудь? Хотя вряд ли: у Махони им самое житье.

Ваня вернулся к вертикальному выходу над родным домом – пахло чердачной пылью, пшенной кашей, топленым молоком; слышно было, как мать хлопнула дверью и едва различимо промычала корова. Постоял Ваня, окидывая взглядом снег, скрывающий деревню, - Лучкино дышало, шевелилось внизу – жило! При полной неразберихе и беспорядице, когда нельзя понять что к чему, откуда ждать беды и как от нее загородиться. Даже время

утеряно, и течение истории – а оно ведь совершается повсеместно! – тут сделало сбой... Ручей ушел в песок...

А надо как-то восстановить утраченное, чтобы хитроумный механизм жизни опять работал в соответствии со смыслом и в согласии с разумом.

2.

Он достал с чердака приготовленные заранее лыжи, надел их, огляделся: вон снежная воронка над осевшей избой Анны Плетнёвой, далее дым над избами Колошиных и Махони. Значит, деревня располагается так... если встать к ней левым плечом, то вот направление на Пилятицы; солнце будет вверху справа, а втер прямо в лицо. Впрочем, на ветер надежды нет, он может и перемениться; надо держаться по солнышку.

Идти было легко, лыжи сами несли; ветерок особо не препятствовал, но что-то заставило Ваню приостановиться. Оглянулся... и ничего не увидел позади. То есть там было совершенно белое, ровное поле до самого горизонта, который словно по линейке проведён – граница белого и голубого. И так во все стороны – куда ни кинь взгляд, куда ни глянь. Он, человек на лыжах, стоял посреди белого круга... да, да, опять как штырёк в самом центре сахарно-белой грампластинки. Даже показалось, что она медленно вращается – вот если опустить солнце на край, оно коснется острым лучом... и раздастся музыка.

«Хорошо, если не похоронная...».

Ваня постоял, соображая: сейчас небо ясно, а если на обратном пути облака закроют солнце да снег пойдёт, что тогда? Как найти дорогу домой? Очень просто заблудиться на такой равнине! Проще, чем в дремучем лесу.

Тревога проснулась в нём.

Он развернулся, чтоб солнце светило в затылок слева, осторожно, как по тонкому льду, отправился назад, выискивая свой лыжный след на крепком насте. След был почти неразличим, но все-таки его можно было заметить. Пошёл по нему медленно, чтоб не потерять: вот здесь он слегка повернул, выверяя направления движения, а вот тут лыжи разъехались – правая соскользнула... Вот она, родная нора! А вот и дымочки из прочих, и прогиб снеговой поверхности над домом Анны Плетнёвой. Тут живут люди... как мышевидные грызуны.

Перевёл дух, повеселел. Да что там, был просто раз без меры, что нашел свою нору, не потерялся... Так бывает, наверно, счастлива мышь, спугнутая лисой и опять отыскавшая спасительный ход в своё жилище. Подумав так, Ваня испытал опять унижение и обиду, слова «мышевидные грызуны» утратили забавный смысл и обрели смысл оскорбительный.

Надо было обозначить свою нору, раз она для него столь спасительна, обозначить так, чтоб было заметно издали.

Он снял лыжи, спустился вниз, на чердак... там под руку попался ему старый, пыльный горшок; нащупал тут же, в темноте, рукоятку ухвата с одним рогом, другой был обломан. С этой добычей вылез наверх, воткнул инвалида в снег, нахлобучил на него закоптелый горшок – вот верная мета! Чёрный от прикипевшей сажи горшок будет отчетливо виден на фоне белого снега, и ветром его не сдует.

Теперь можно было ехать хоть куда, в лббую сторону, до тех пор, пока родимый горшок виднеется позади. Но до Пилятиц три километра, а на каком расстоянии будет виден этот «маяк»? Ваня снова спустился к родному дому, прихватил во дворе сноп хвороста, выбрался наверх, приладил этот сноп за спину и отправился в путь.

Теперь он шёл уверенно, сначала оглядывался на горшок, а когда тот стал теряться в снежной белизне, доставал из-за спины, как стрелы из колчана, по прутику и втыкал в снег. Старый горшок уже затерялся позади, стал чёрной точкой и мог вот-вот вовсе исчезнуть в блеске солнечного свете. Но прутики-вешки выстраивались в прямую линию и видны были чётко; наст под ногами крепок – ничто не предвещало худого.

А впереди возникла точка, точно такая же, какая была сзади, за неё теперь цеплялся взгляд. «Уж не горшок ли и там, над Пилятицами? – подумал Ваня с усмешкой.

Лыжи скользили по снегу так легко, что он лишь отталкивался палками; с трудом удавалось приостановиться, чтоб воткнуть очередную вешку. А в это время прямо под ним в толще снежной невидимо ехал кто-то: явственно слышался звон колокольчика, топот лошадей – небось, тройка – скрип санных полозьев и простуженный голос:

- А ну, лебеди! Прибавь, прибавь!

Ямщицкой тройке было с Ваней не по пути, и звуки эти, отдаляясь, затихли.

3.

Снежная равнина была не так ровна, как ему виделось вначале: справа тянулся небольшой ложок – это, как догадался Ваня, над руслом Вырка, что течёт от Лучкина к Пилятицам и там впадает в реку. Берега его круты, заросли кустами, которых теперь, конечно же, не видно; а вот как раз над Вырком снег маленько просе, обозначая его извилистое русло.

Оглянувшись, он вдруг увидел за этой едва заметной ложбинкой собак, которые мчались наперерез ему, Ваня даже при-

остановился, заинтересованный: откуда они взялись? И вдруг осенило, пронзив, словно электрическим током: это же волки!

Они мчались стремительно, как на лыжах, подгоняемые ветром: передний волчина, должно быть, вожак этой стаи, оторвался от прочих на несколько махов; за ним следовали парами четыре волка; еще один чуть сзади, казавшийся меньше прочих; и уже довольно далеко отстав, ещё три. Ваня рванул изо всех сил – скорей. скорей к той вешке впереди, которая казалась ему почему-то спасительной: там, небось, есть нора вниз, в село. Лыжи от излишней торопливости разъезжались в стороны. На бегу хлопнул себя по карману: нет, ножа не взял с собой... а надо бы топор прихватить, топором можно бы отбиться. А так настигнут, сшибут с ног, вцепятся в горло, и всё, конец – загрызут. Это произойдёт с ним! Его съедят эти твари! Оставят только кости на снегу...

Оглядываясь, он мог различить оскаленную пасть вожака и – то ли воображение подсказывало, то ли зрение настолько обострилось – даже страшные клыки его. Самые задние прибавили в беге, стая становилась плотнее, расстояние между нею и убегавшим быстро сокращалось. Шла охота волков... на него, на человека! Они теперь охотники, а он дичь! И в этом опять было великое унижение, от которого хоть плачь, хоть кричи, хоть скрипи зубами.

Одна из лыж соскочила с валенка и отъехала назад. Ваня споткнулся, упал. Волчья стая пошла наперехват через ложбину, вот-вот вымахнет уже на этой стороне, но не появились волки. То есть вот была целая стая их, и не стало, будто провалилась сквозь снег. Может, и в самом деле провалилась?

Задыхаясь, он проворно надел лыжину, опять рванул вперёд, то и дело оглядываясь. Нет, волков не было видно, исчезли, будто растаяли они, подобно привидениям.

А та вешка, что маячила впереди, вдруг придвинулась и оказалась рядом – это был крест над колокольной пилятицкой церкви, покосившийся и заржавленный крест на снежной целине, как рука тонущего, выброшенная вверх, отчаянно взывающая о спасении в последнем порыве.

Тяжело дыша, Ваня остановился у этого креста, опершись на лыжные палки, смотрел назад. Он ещё не совсем поверил в то, что опасность миновала, и готов был в любую минуту зарыться возле этой колокольни в снег: нам, внизу, люди, а значит, и спасение.

- Ах, твари! – бормотал он, вздрагивая не столько от перенесённого страха, сколько от ярости. – Ну и твари!

По мере того, как возвращалась к нему бодрость и отступала бессильная злость, исчез и страх. Даже стало досадно на собственную трусость, но кто же не испугался бы на его месте!

Утешительное торжество пробудилось в нём: что, взяли? Ещё неизвестно, чем бы закончилась схватка, если бы они настигли его. Неужели он не справился бы с ними?

«Да я б их зубами рвал!»

Ещё более успокаивая его, в отдалении, в снегах опять прозвенел дорожный колокольчик под чьей-то дугой. И молодой голос запел:

*Ой вы, сани-лебеди! Ой вы, кони-птицы!
Полетим-помчимся да к милому крыльцу...*

4.

Ни единого следочка не было возле креста – ни волчьего, ни птичьего, ни человеческого – нетронутый снег. Сверху он был, как молоко, на котором тонким слоем отстоялась пена; казалось, под этой пенной поверхностью именно парное молоко.

На некотором расстоянии от церкви с её торчащим из снега крестом воздух был текуч и струился вверх, даже дымок шёл снизу! Теперь и вовсе можно забыть о волках: внизу Пилятицы, там люди. Если б не снег, село видно было бы сейчас как бы с высоты птичьего полёта.

Ваня подъехал поближе к тому месту, где воздух плавился от тепла, и отсюда увидел: вон неподалёку ещё одна отдушина, а далее третья, и четвертая к ним в ряд. Верно, именно так располагаются дома в Пилятицах. Напротив них – магазин; ну, над ним отдушины нет и дымок не идет – вывод неутешительный: печка не топится, магазин закрыт, и в нём нечем поживиться. Какой там мог быть товар? Банки трехлитровые с березовым соком, привезенные почему-то из Белоруссии... словно здесь березового соку нет. Соль окаменелая в пачках да спички... На хлеб надежд мало, его и в лучшие времена там не всегда купишь. Мать, бывало, пойдет в Пилятицы – три километра туда, столько же обратно – и вернется с пустыми руками: пришла из города хлебовозка, но на всех хлеба не хватило.

Пока стоял, жаворонок запел вдруг в вышине! Ваня поднял голову, вглядываясь в небесную синеву, и увидел его: птаха пела самозабвенно и, трепыхнув напоследок крыльями, замолчала и камнем упала в снега.

Ваня пожал плечами: как к этому относиться?

Лезть по отдушине в чужой дом – дело недостойное, и он вернулся к кресту. Спрятал и лыжи, и палки в снег, пробил ногами наст и стал проталкиваться вниз по шпилью, а тот был покрыт жестью, уже проржавевшей, – того и гляди колени поранишь или куртку порвёшь. Довольно скоро добрался до окна колокольни, заглянул, привыкая глазами к темноте, спрыгнул на площадку, залепленную птичьим помётом, замусоренную пру-

тъями, перьями, прелой травой. Отсюда вниз вела деревянная лестница, ветхая, готовая обрушиться. Он спускался осторожно, нащупывая ногами ступеньку за ступенькой, пробуя их крепость.

5.

Когда лестница закончилась, он смутно увидел пол внизу, примерился и прыгнул – шум его прыжка отдался эхом в пустой церкви и вместе с ним почудился Ване посторонний звук – то ли шорох, то ли шепот. Выглянул – чья-то фигура со свечкой стояла перед иконостасом, вернее, перед тем, что было когда-то иконостасом и алтарём.

- Кто там? – окликнул испуганный женский голос.

Ваня узнал почтальонку Тоню Творогову, то есть Антонину... как её по отчеству-то? Все звали её просто Тоней и никак иначе, хотя лет ей уже за пятьдесят. Ваня поздоровался, и она его узнала, обрадовалась.

- Если б не крест на колокольне, я б и села вашего не нашё, - сказал он этой Тоне, обрадованный встречей. – Так-то крест из снега торчит, а больше ничего – ни труб, ни антенн телевизионных.

Она даже прослезилась:

- Ну, слава тебе, Господи! Крест видно: авось найдут нас и не оставят без помощи, авось откопают. А то я спрашиваю, глубоко ли нас засыпало, – никто ничего не знает.

На кого она надеялась, неведомо. Он не стал её понимать, что никому нет дела до них. Тоня жаловалась ему, перечисляя происшедшие беды, словно он явился спасти село Пилятицы, словно это в его силах

- Что творится, - повторяла Тоня, - что творится! И в вашей деревне так или только у нас?

Она поведала, что появились у них в селе и люди, и нелюди, и просто непонятные существа. Народ сбит с толку, не поймет что к чему.

- Уж не конец ли света? – с дрожью в голосе предположила почтальонка и уставилась на Ваню: он-де должен знать, что и почему, и чего теперь ждать.

Словно у него и впрямь сорок умов. Экая простота! Он утешил ее, сказав, что и раньше падали снега и заваливало по-гиблomu не только эту местность, но и всю Русь, со всеми ее градами и весями. Говорил так и самому верилось: да, и раньше бывало.

- Однако же после ночи всегда наступает утро, а оно мудренее вечера; так устроена жизнь, - заключил он.

- Страшно-то как! – сказала говорила Тоня, проникаясь к нему доверием. – Всякую минуту жди какой-нито беды: домишко

у меня хилый, того и гляди придавит его снегом, он и рухнет – где ж ему выдержать такую тяжесть! Потрескивает да поскрипывает, я и спать дома боюсь. Сплю вот тут, возле алтаря. А домой наведуясь - скотинка моя вся спит: то ли больна, то ли просто не в себе.

Высоко вверху под сводами невидимо ворковали голуби.

- Прикармливаю их зёрнышками, - сказала Тоня. - А хлеба нет. Где его взять?

- А что магазин? Не работает? – спросил Ваня, а мог бы и не спрашивать, потому что вопрос дурацкий.

- Чем торговать- то ему? Привозу нет. Продавщица уехала в город за товаром как раз перед снегопадом и не вернулась. Где же теперь ей до нас добраться! Мужики надеялись: авось, водочка там у нее осталась. Дверь взломали - ничего нет, только снег висит бородами. И запирать не стали. Ночью кто-то и полки уволок, и прилавок, и двери сняли с петель. Так и стоит разоренный. Что будет дальше? Пропадать нам.

- Ничего, на картошке продержимся, - бодро сказал Ваня.

- Коли не отнимут, - возразила Тоня. – Нынче до картошки все охотники. Ее уже велено на учет поставить, у кого сколько.

- Кем это велено?

- У нас тут новые начальники объявились. Свято место не бывает пусто. Была бы шея, а хомут найдется. Велели все запасы объявить, переписать, а кто утаит, у того всё отнять.

- Крутые ребята...

- С городом никакой связи нет. Телефон молчит. Мухин и радиоприемники все отобрал, у кого были, батарейки из них вынул и спрятал.

- Зачем?

- А чтоб Москву не слушали. Там, говорит, власть захватили оппортунисты и троцкисты, ведут вредную пропаганду. Распорядился все телевизоры сюда, в церковь, снести, а заодно и ковры, и хрусталь, и посуду чайную да столовую... у кого что лучше – все сюда. Роскошь, мол, это, а она развращает.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1.

Уже привыкшими к церковной темноте глазами Ваня разглядел: у стен и по углам ящики, коробки, узлы... ковры в рулонах, мешки неведомо с чем.

- Меня оставили сторожем, а какой из старой бабы сторож! – возмущалась Тоня, всплескивая руками. – Приди вот хоть ты,

стукни меня по голове да и бери что хочешь. Сказала я Мухину: тут нужен мужик с ружьем.

- А кто этот Мухин? Откуда он взялся-то?

- Уполномоченный по коллективизации. Сидит в конторе колхозной, в кожаной тужурке, с револьвером. Или по дворам ходит, командует, добро отбирает. Говорит, что прислан из города..

- Кем прислан?

- А пёс его знает!. Вот ты придёшь, и тобой будет командовать.

- Ну, это навряд ли, - усомнился Ваня.

- А вот револьвер-то на тебя наставит, так и будешь сразу шёлковый.

- Что-то не верится, - опять усомнился Ваня.

- Это ты пока его не знаешь. Старухи наши говорят: он у нас в тридцатом году колхоз организовывал, богатых мужиков раскулачивал. Теперь вот вернулся да и за старое: опять богатых разоряет.

- Откуда вернулся? – недоумённо спросил Ваня.

- А из тридцатого году.

Почтальонка Тоня сказала об этом, как о деле обычном: мол, что особенного! Тридцатый год – что-то, вроде дальней деревни или города, откуда можно прийти, а потому туда же удалиться.

- Колхоз опять организует, - сообщила Тоня, поджимая осуждающе губы.

- Но у вас же и без него колхоз! Чего ещё надо этому уполномоченному?

- Спрашивай у дурака разума-то! Он говорит: важен не коммунизм, а борьба за него. И не колхоз важен, а чтоб вот раскулачить. В борьбе, твердит, обретем счастье своё. Вот так.

- Ишь ты... Это что-то новенькое... или перелицованное старенькое. Наверно, он только с виду дурак, а разобраться – хитрый! То есть почти что умный.

- Он ли не умён!.. Всех частных коров обобществил, и овец, и куриц с гусями. Собрали в одно место... Всё, как в тридцатом году.

- Но зачем! – уже сердясь, воскликнул Ваня.

Тоня понизила голос до шепота:

- Говорит: такая директива пришла из центра.

- Из какого центра?

- Откуда я знаю!

Признаться, известие об уполномоченном поначалу несколько приободрило: хоть бы и из тридцатого года, а раз откуда-то прислали, значит, о Пилятицах да о Лучкине помнят где-то там. Но художества насчёт коллективизации... Тут опять

надо бы удивиться, но Ваня устал уже удивляться в этой нелепой жизни. Вот войди сейчас корова в церковь и скажи человеческим голосом: «Здорово, народ честной!», и ты не удивился бы. Чего ж спрашивать с почтальонки-то Тони! И она тоже привыкла.

Тоня рассказала, что всю скотину в Пилятицах уже свели с частных дворов на общий двор, Мухин там распоряжается, кому сколько дать молочка, а кому не давать. Талоны выписали на каждую душу – в талоне написано, что и сколько можешь получить. Вот, скажем, на том дворе сбивают сметану в масло, так обещают разделить по сто или двести граммов на каждый талон, но пока ещё не делили. То же и с курицами: вроде бы, станут награждать десятком яиц победителей социалистического соревнования. Но это потом, а пока что куры, которые и неслись, с перепугу нестись перестали. Так что их – варят да жарят. Это для неимущих, Мухин говорит, а ест сам, поскольку, мол, он главный неимущий, у него-де нет ничего, кроме револьвера. А при нём прихлебатели...

- Самогонку гонят, - пояснила Тоня. – Каждый вечер у них заседание с выпивкой и закуской – разве куриц напасёшься! Уж поросенка нынче зарезали и теленка.

2.

Мухин, оказывается, успел начисто раскулачить четыре семейства в Пилятицах – всё ихнее добро отобрали, самих хозяев арестовали и намеревались куда-то сослать. Тоня называла фамилии раскулаченных, и одна из них – Устьянцевы – сильно взволновала Ваню Сорокоумова.

Он и себе не признался бы, что весь этот поход предпринят им из-за Кати: хотелось хоть как-нибудь проведать, как она и что с нею – хотя бы просто узнать стороной, как и что, и вернуться в Лучкино. Всё остальное было второстепенно, поскольку он догадывался, что и магазин пуст, и связи с городом нет, никакой помощи он оттуда не получит.

- Мухин Василию Морковкину ухо прострелил. Ты, говорит, контра и шпион. Я, говорит, тебя шлёпну без суда и следствия.

- А чего ж Василий не шлепнул самого Мухина? – рассердился Ваня.

- Поди-ка... Он не один, ему помогает Коля Сладимый, два раза судимый – ты его знаешь – да пастух наш, пилятицкий, да ещё какой-то «амоновец», Алфёров фамилия ему. Кто это такие амоновцы-то, Вань?

- А это язычники, - объяснил он почтальонке. У них верховным богом считается Амон. А те, кто ему служит, называются

так: жрецы бога Амона, иначе говоря, амоновцы. У них власть земная.

- Жрецы, верно, - подтвердила Тоня. – Два десятка кур сожрали, поросёнка Устьянцевых давеча зарезали и палили прямо возле конторы...

Так где же Устьянцевы теперь?

- Амоновец Катю арестовал, - словно поняв его тревогу, сказала Тоня.

- Как арестовал?

Жаром плеснуло ему в лицо; наверно, даже шрамы в виде подковы скрылись.

- Кулацкая дочка, мол... А я так думаю: за красоту её. В камеру хотел запереть, да бабы не дали, закричали на него, пристыдили. А он, такой мордovorот, выпивши был...

- Так что, их заперли куда-то, раскулаченных? – спросил Ваня, с трудом сдерживаясь: надо скорей выручать, немедленно, сейчас же!

- Заперли их в амбаре, сторожем приставили Володю Немтыря, киномеханика. А он амбар отпер, пленных освободил да и увёл их в Вахромейку, за реку. Алфёров кинулся было в погоню за ними, а с того берега по нему из ружья бабахнули, ну и вернулся ни с чем.

Ваня все ещё не мог успокоиться: верно ли, что ушли Устьянцевы, и в надёжном месте живёт теперь Верочка? Это надо выяснить. Может быть, им лучше перебраться в Лучкино? Как хорошо было бы, если б...

- А тут ещё орда, - добавила Тоня, крестясь. – Не знаешь кого больше бояться.

До его сознания не сразу дошло это, он переспросил, нахмурился:

- Какая-то орда?

- А татары. Или монголы, пёс их разберёт! Встали табором в той стороне, возле деревни Сельцо, ну и наезжают к нам: овец угоняют, двух лошадей зарезали прямо в стойлах нынче ночью, оставили только хвосты да копыта...

Ну, дальше и вовсе нелепица получалась: будто бы орда та требует с окрестных деревень дани, а иначе-де разбой учинят и всеобщий грабёж...

3.

На паперти слышались уверенные хозяйские шаги, лязгнуло железо – отпирали замок.

- Кто это? – спросил Ваня.

- Дак жрецы, - отвечала Тоня, нахмурилась досадливо и вместе с тем испуганно.

- Они что, заперли дверь церкви на замок? Зачем?

- А чтоб добро вот это не разворовали.

- Да ведь окна же выбиты! Какой смысл дверь запирать?

- Разума у них не спрашивай, - сказала Тоня и поднялась по ступенькам на то возвышение, которое называется алтарём... или амвоном? В церковных терминах поди-ка разберись.

Двое, пыхтя, втащили что-то тяжелое, завернутое в мешковину. Сначала показалось, что это труп человека, тем более, что в действиях двоих «жрецов» было что-то зловещее... Ваню опухло страхом, волосы под шапкой, кажется, зашевелились. Но Тоня первой разгадала, что они тащат.

- Зачем сюда приволокли! – закричала она – Неуж другого места нет для вашего борова? Или у вас склада нет, что свиную тушу сюда? Во что вы Божий храм превратили?

- Помалкивай, - сказано было ей.

- Господи, - обратилась она к зияющим окнам иконостаса, в которых стояли когда-то образа. – Прости Ты их. Не ведают, что творят. По глупости они.

- Стой! – слышалось в ответ, и сильная рука схватила Ваню за плечо. – Кто такой?

- Да пошёл ты! – Ваня рванулся, куртка треснула под чужой рукой.

- Не рыпайся, - сказал ему тут, что держал.

Это был, надо полагать, тот самый Алфёров, о котором говорила Тоня – здоровенный парень в расстёгнутом пятнистом бушлате и в такой же пятнистой фуражке с козырьком; в распахнутом вороте на его груди виднелась полосатая тельняшка. Не хватало только автомата - сошёл бы за бойца из группы захвата чего-нибудь особо важного. А второй был невысокого роста, в красноармейском шлеме и в белой женской куртке с застёжкой-молнией; зато за спиной у него моталась двухстволка, он её то и дело поправлял. Этого второго Ваня знал: Коля Лубов, по прозвищу Сладимый.

- Да не хватай грязными лапами! – разозлился Ваня, потому что от рук Алфёрова пахло палёной щетиной.

- Ты не цапай, кошка, лапой птичку-воробья! – закричал Сладимый: он был изрядно пьян.

- Кто такой? Как сюда попал? – спрашивал Алфёров. – Что тебе тут надо? Чем решил поживиться? Магнитофон спереть хочешь?

- А ты полно! – заступилась Тоня. – Он и знать не знал, что тут лежит. Он по колокольне сверху спустился.

- Это Ванька Сорокоумов из Лучкина, - сказал «красноармеец» Сладимый. – Он маленько с приветом: упал с мотоцикла – головкой стукнулся.

- Ну и рожа у тебя! – Алфёров бесцеремонно разглядывал Ваню. – Кто так расписал?

- Да не хуже твоей, - отвечал Ваня.

- Не груби старшим – это чревато.

Тоня опять заступилась:

- Это у него подкова – счастливый знак.

- Нет, - Алфёров покачал головой. – Это у него герб Советского Союза. Значит, наш человек.

Он расстегнул куртку, схватил Ваню и притиснул лицом к своей груди. Какой-то твёрдый предмет больно врезался ему в лоб.

- Вот так, - сказал Алфёров удовлетворённо, отпуская его. – Теперь полный порядок: во лбу звезда горит.

Сладимый захохотал.

- Этот орден ты украл у кого-то, - сказал Ваня, потирая лоб.

Алфёров опять схватил его:

- А ну пошли.

И они вдвоём поволокли его из церкви.

4.

На крыльце того дома, который в Пилятицах звали «конторой», толпились какие-то люди.

- Иди-иди! – Алфёров толкнул Ваню в спину. – Чего упираться, как бычок на мясокомбинате!

Протиснулись через тёмный коридор. В комнате, освещённой керосиновой лампой, сидел человек в чёрной кожаной куртке. На столе перед ним – бронзовый чернильный прибор с перьевой ручкой, торчавшей прямо в чернильнице, телефонный аппарат с оборванным шнуром, варёная курица с одной ногой и кожаная фуражка с блестящим козырьком. На стуле у стены сидел ещё один человек – этого Ваня знал: Трегубчик, пастух пилятицкий.

- Товарищ Мухин, - сказал Алфёров, вталкивая Ваню, - вот эта тифозная вошь – из Лучкина. Есть к нему вопросы? А нет - мы его шлёпнем без суда и следствия: сопротивление оказывает.

- Ага, Лучкино... - человек в кожаной куртке достал какую-то ведомость из ящика стола, полистал её. Как у вас там, тихо?

Ваня не отвечал.

- Большая деревня? Сколько дворов?

Ваня стал считать на пальцах – получалось то два десятка, то всего три двора.

- Дурака валяет, - определил Сладимый.

- Домов у них там всего шесть, - вставил Трегубчик. - А раньше-то было десятка четыре.

- Ладно, - Мухин записал что-то в ведомость. – Кто у вас там самый зажиточный?

Ваня молча смотрел на него. Лицо у Мухина худое, небритое; когда он проводил ладонью по щеке или подбородку, слышался электрический треск.

«Опалили бы его заодно с боровом», – подумал Ваня. Станным образом и Мухин, и Алфёров со Сладимым услышали то, что он подумал. Мухин посмотрел на пленника свирепо.

Лет ему, Мухину, небось, не более сорока. Значит, что-то путает почтальонка Тоня: не могло его быть в тридцатом году, поскольку родился где-то в пятидесятых. Впрочем, если он сохранился в законсервированном виде...

- Самый богатый у них Митрий Колошин, - опять подсказал Трегубчик. – Дом у него большой, под шиферной крышей... два телевизора, черно-белый и цветной.

- Та-ак. У кого-то ни одного, а у него два? Ну, мироед!

- Ещё корова с теленком, свиноматка и четыре поросёнка при ней, гусей целое стадо...

- Верно он говорит? – спросил Мухин у Вани.

- Надо ограбить, - сказал Ваня. – Что вам эта курица! Иное дело: гусей поджарите на вертеле.

- Это он издевается, - подсказал Трегубчик Алфёрову. – У него язык очень ядовитый, у этого Ваньки. .

- Угу, - удовлетворённо сказал Мухин. – Так и запишем: Колошин. Значит, он на очереди. Сначала отправимся в Починок, потом в Лучкино...

Писал он почему-то не ручкой из своего письменного прибора, а химическим карандашом, который то и дело совал в рот послушать.

- Погоди-ка, а ведь я Колошина уже потрошил в тридцатом! – вспомнил Мухин. - Или это другой? Ну да, тот был Василий Кириллыч. Как же, хорошо помню: мы к нему во двор, а он на нас с оглоблей.

- Так то Митрия отец! – весело сказал Сладимый. – Говорили про него, что лихой был. Ему рога обламывали где-то в песках, там и остался. А у Митрия в городе трое сыновей.

- Вишь ты...Корень не извели, опять побеги пустил. Ладно, разберёмся и с сыновьями.

- Он в батю, Митрий-то! Небось, тоже оглоблю в руки возьмет, ежели что, - весело предупредил Ваня.

- Работников держит? – спросил у него Мухин строго.

Дурацкий вопрос заслуживал дурацкого ответа, но шутить не хотелось

- У него родная сестра в работницах, - подсказал кто-то из темноты коридора, где толпились какие-то люди..

- Угу, - с удовлетворённым видом делал помётки Махин. – Конечно, где ж одному с таким хозяйством управиться! Нужно использовать наёмный труд – это закон мироедства и эксплуатации.

- Колошин – инвалид без обеих ног, - не выдержал Ваня. – А сестра его Ольга - горбунья. Что вы чушь всякую несёте!

Мухин на это сказал сурово:

- А у нас все равны, и больные, и здоровые, стройные и горбатые. Ни тех, ни этих нельзя угнетать и эксплуатировать. Понял?

5.

- Наш принцип: каждому по потребностям, - внушительно продолжал Мухин. - Но меру потребностей устанавливает общество. Ясно? Рот у Колошина один? Один, как у всех. Вот когда у него будет два рта, два пуза, и всего прочего по паре...

Алфёров не засмеялся – заржал.

- ...тогда посмотрим. А пока потребности должны быть у всех одинаковы и на разумном уровне. Справедливо? Справедливо.

Тут они все насторожились, ибо в пустоте рядом с Мухиным раздались совершенно мирные звуки: словно в самоваре, которого тут вовсе не было, кто-то открыл краник и стал наливать в чашку. Журчала струйка воды, и самовар пошумливал, звякала чашка о блюде. Но все прекратилось, словно краник завернули. Тихо стало. Потом где-то рядом послышался разговор странный – говорили:

- Лето убо на четыре времени разделену: на весну, на жатву, на осень, на зиму.

- Остави жатву свою, начни имати вино...

- Стояста две недели тепле вельми переже жатвы...

- По наволоку урожайно ныне...

«Жрецы» переглянулись, на Ваню посмотрели, словно заподозрили в чём-то и ждали от него объяснения.

- Это призраки, - сказал он и добавил потише. – И вы тоже...

- А ну, Алфёров, дай ему на шее! – загорячился Сладимый.

- Дай сам, - посоветовал Ваня с угрозой в голосе.

На это Сладимый не решился или не успел: дальний конский топот и свист донеслись с улицы.

- Что это? – строго спросил Мухин, прислушиваясь..

- Татарва гуляет, - подсказали ему из коридора.

- Ничего, ничего... У нас с ними сепаратное замирение. Они нас не тронут.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1.

Мухин опять вознамерился что-то писать, карандаш по-плюнул.

- Значит, ты, парень так рассуждаешь: вашему Митрию - хлеб с маслом, а вот этим ребятам – хлебушек с солью? Так, да? Вот что я тебе скажу: кто хочет отдельно от всех и с маслом, того к стенке, как социально незрелый тип.

Тут Мухин стукнул кулаком по столу, и курица, лежавшая на газете, подпрыгнула, как живая.

- Что ж теперь, второй раз будем раскулачивать? – произнёс в коридоре чей-то голос.

- Ты, Алексей, жалостливый больно, - усмехнулся Мухин. – Классового чутья в тебе нет. Я тебе для понятия пример приведу... Вот человеческий организм состоит из клеток, так? Когда одна клетка начинает шибко разрастаться, то что получается? Раковая опухоль. Это я тебе по-учёному объясняю. И тут в организме срабатывает защитная система: она раковую клетку убивает. А не убьёт – человек погибнет. Понял? Закон жизни. Так должно быть и в человеческом обществе.

- К ногтю их всех! – бодро сказал Алфёров.

- Хапать кусок шире рта не позволим никому, - уполномоченный Мухин открыл ящик стола – в нём лежал револьвер; небрежно отодвинул его, достал кисет, газету, сложенную гармошкой, оторвал клочок с крупными буквами «ЦК КПСС», стал сворачивать сигарку. – Всё зло – в неравенстве! Запомни это, парень. Если в подполе десяток гнилых картошин заведётся, весь запас сгниёт. А потому гнильё – вон! Как сорняки с поля. Остальные здоровы будут. Что, я не прав? Вот то-то.

- Если здоровые столбы подпилить, всякое строение упадёт, - возразил Ваня.

- Тогда снести его к такой матери и построить новое! – Мухин пыхнул синим дымом, как дракон, глаза его сверкнули, он пристукнул кулаком по столу – и курица, и телефон подпрыгнули.

- Товарищ Мухин, я вспомнил: у этого парня дядя архимандритом, - обрадованно сообщил Коля Сладимый.

- Да архитектор он, а не архимандрит, - усмехнулся Ваня.

- А нам всё рано, - хладнокровно сказал уполномоченный неведомо кем, - что архидьякон, что архидьявол – мы всех к ногтю.

- Да чего с ним толковать, товарищ Мухин, - сказал Трегубчик. – Разве не ясно, чем он дышит?

- Кто не с нами, тот против нас, - веско молвил Сладимый, у него даже бас прорезался.

- Тут правило такое: пока слепой, топи котёнка! – ухмыльнулся Алфёров.

Ваня бросил на него презрительный взгляд:

- Ты всё топил бы да стрелял. Живодёр.

Алфёров коротко размахнулся и ударил его – Ваня отшатнулся. Этого им показалось мало: пастух Трегубчик сорвал с Вани шапку, нахлобучил на свою голову – а голова у пастуха маленькая, утонула в ней. Он уже и пуговицы у куртки Ваниной стал расстёгивать, хотел снять, но тут Мухин распорядился:

- Запихните его в ту каморку, и там запирайте. Пусть посидит, подумает. Он ещё нам пригодится.

«Классовая борьба» продолжалась и в коридоре, потому что Ваня озлился вдруг и сопротивлялся изо всех сил. Но Алфёров – мужик дюжий, ему помогали Сладимый и Трегубчик, поди-ка совладай с ними. Они его впихнули куда-то в темноту и заперли за ним дверь.

- Потом приспособим под тюрьму зерновой склад, - слышно, сказал сзади Мухин. – Там места всем хватит.

Разгоряченный этой потасовкой, Ваня яростно толкал дверь, стучал в неё кулаком:

- Эй вы, сатрапы! Палачи! Отоприте!

Из коридора ему пообещали переломать руки-ноги.

- Шапку-то отдайте, мародёры!

Дверь отворилась, в каморку вбросили что-то – это была гнусная шапчонка, пахнувшая соляжкой и палёной свиной щетиной. Ваня крепко вытер об неё ноги. Опять всем телом ударился в дверь:

- Эй, вы там!..

Никто ему не отвечал. Да и не слышали его в общем многоголосье.

2.

В коридоре шум поднялся шум, топот, возня, и в комнату к Мухину втиснулось сразу много женщин. Они кричали:

- Да что ж это творится-то!

- Кто ж за нас заступится, если не вы?

- Мужики вы или не мужики?

- В чём дело? – строго спрашивал Мухин.

Ему в ответ:

- Стожок сена стоял возле двора – подъехали, уволокли. Я на крыльцо-то выскочила, кричу, а этот, косоглазый, зубы скалит – рожа неумытая, бородёнка реденькая, как у козла...

- У меня прикладок сена был на задворках; нынче хватить-похватить – нету прикладка! Только следы остались...

- Из дому выйти боюсь...Двери приперла, так всё равно страшно: вдруг подожгут! Сижу, топор наготове.

- Как хошь, товарищ Мухин, а надо решать: или уходить, или браться за топоры, за вилы, - это был голос «жалостливого» Алексей из темноты коридорной.

- Куда уходить, дурья башка? – грозно спрашивал Мухин. – Некуда. А топорами много не навоюешь.

- Вон у Сладимого ружье...

- Да к нему всего один патрон! Он эту двухстволку носит для морального устрашения и действует ею, как дубиной, - вы же знаете! А те из луков на двести метров в копейку попадают.

- Не знаем, не наше дело думать, - озлоблённо отвечала одна из женщины. – Коли уполномочили, сам говорил, то и соображай. Вон у тебя и револьвер есть.

- Револьвер – для контры. То есть для врагов внутренних, он опаснее внешних. Что же касается татар, у меня с ними договорённость: они Пилятицы на тронут.

- Как не тронут, когда всё отбирают. И сено, и зерно, и скот... и одежду-обушу.

- Разве можно с басурманами договариваться? Им можно ли верить?

- Ну, им лошадей нечем кормить, - уговаривал Мухин. – Вы должны войти в их положение.

- Опять триста лет дань платить будем?

- Поделитесь по-соседски, по-братски. Мы же интернационалисты!

- Деревню Верхний Дор уголовники насовсем разорили, деревню Боляриново ордынцы сожгли, в обороняются от каких-то ухорылых...Господи, что творится! Никакой власти нет, одна сплошная демократия.

- Смутное время опять на Руси!

- Да не скулите, не скулите! – гремел Мухин. – Ишь, панику развели. А ну, как твоя фамилия Нету фамилии. Тогда помалкивай.

- Надо объединяться с Вахромейкой для совместного отпора татаро-монгольскому нашествию, - подсказал смиренный Алексей из темноты коридорной.

- В Вахромейке у власти кто? Как мы можем быть вместе с ними? Они сепаратисты, анархисты. Ты соображаешь ли, что говоришь? Алфёров, ну-ка ты по-своему вразуми его.

Должно быть, возле Мухина толпились и гомонили люди.

- Всем выйти! – распорядился он грозно. – Останутся только члены партии. Проведём срочное собрание.

- Что? Какое собрание?

- Товарищи члены, рассаживайтесь.

- Чего рассаживаться, товарищ уполномоченный, когда там...

- Не шуми... Сколько нас? Раз, два.. четыре, пять... Где Вострецов? Здесь. А Пелагея? И она тут. Садись, Палага, протокол писать. Кворум есть, собрание правомочно. Главное в повестке дня: о текущем моменте. Из него вытекают два вопроса: первый - о ходе ликвидации кулачества, как класса... второй – о татаро-монгольском нашествии... Дверь закройте! Алфёров, выпри всех к такой матери из коридора на улицу!

3.

Между тем Ваня ощупывал комнату. Рядом с дверью оказалась печка, теплая, недавно топлёная. В каморку она выпирала боком, и он, ощупав кирпичи, сообразил, что ели разбирать её по кирпичику, тогда можно выбраться в коридор, а там и на волю.

Соображая таким образом, он приговаривал:

- Сижу за решеткой... в темнице сырой... вскормлённый на воле орёл молодой...

Рядом кто-то простуженно кашлянул.

- Тут не баня случаем? – насторожился Ваня. – А то я однажды залетел ненароком... а там люди голые. Черт знает что творится!

- Видел бани деревянные... - сказал простуженный голос. – Пережгут и идут в неё, изволокутся и будут нази. И облиются квасом кислым и возьмут на ня прутье младое и бьются сами.

- Овсяник! Это ты?

- Я.

- Что ты бормочешь?

- Который человек студенаго естества и сахуго, тои молчалив и не верен, а я борзо глаголю.

- За что тебя сюда заперли?

- То беси... Не уподобляйся им, боронись молитвою и святым крестным знамением.

А в коридоре поднялся шум, крик, возня. В общей суматохе кто-то осторожно отпер дверь каморки, и голос смиренного Алексея сказал тихо:

- Эй вы, классовые враги! Живо ноги в руки... Успеете удрать – ваше счастье.

Ваня и Овсяник, не узнанные, протиснулись сквозь толпу в коридоре, выбрались на крыльцо. Тут женщины возбуждённо переговаривались:

- Жаловаться надо...

- Кому!?

- Это что ж такое: корову вывели со двора и тут же зарезали. Лопочут не по-нашему...

- Это татары, небось.

- Татары от Суховеркова наступают, а польская шляхта совсем с другой стороны.

- Да кто их видел-то?

- Я видела. Давеча показались – на конях, в красных жупанах, в шапках вот таких, с разрезом. Я сразу догадалась: поляки.

- Никакие это не татары и не поляки, а чеченцы. Они в деревне Верхний Дор летось скотный двор строили. Им наши здешние места знакомы, знают, где что есть, вот и разоряют. Адресно!

- В красных-то жупанах?

- Да не чеченцы это, а карабугазы. Они говорят: вы – дети снегов, мы – дети песков...

Возле крыльца стояла лошадка, запряженная в сани, мирно хрупала сено. Ваня успел спуститься с крыльца, когда из темноты коридорной послышалось:

- А-а, гады! Шаг влево, шаг вправо – побег! Алфёров, стреляй!

На крыльцо выскочил Трегубчик, чертом слетел по ступенькам, вцепился в Ваню одной рукой, в другой у него было охотничье ружьё. На этот раз Ваня вывернулся и изо всех сил врезал ему кулаком по уху. Трегубчик на ногах оказался некрепок, упал.

Овсяник ошалело смотрел. Ваня ему:

- Чего стоишь, разиня рот! Бежим!

Тот нырнул под брюхо лошади и исчез в снегу. Ваня подхватил упавшую с головы Трегубчика шапку и рванул было в сторону.

- Нет, не уйдёшь! – послышалось сзади.

Это Трегубчик крикнул, вскакивая, и прогремел выстрел... Словно пуля из того ружья, Ваня вонзился в снежную стену, выбился в какой-то ход и побежал по нему вниз – это к реке, в сторону Вахромейки. Сзади слышались приглушённые голоса и конское ржание.

4.

Вахромейка была как бы частью села Пилятицы, их разделяла неширокая река. Подснежный ход вёл как раз к переправе,

где набросаны были в беспорядке поверх льда доски и жерди. По-видимому, мосточек этот не раз уже наводили и разбирали. Тут и там плескалась вода в полыньях – не так-то просто перейти. На этом неверном мосточке Ваня остановлен был грозным окриком:

- Штой, хто идьёт?

Крикнуть так мог только Володя Немтырь. Володя работал в Пилятицах, но жил в Вахромейке. Человек он добродушный, любитель кошек и собак и большой знаток кино, вот только речевой аппарат у него устроен как-то так, что собственный язык говорить ему мешает.

- Сам ты идиот, - негромко отозвался Ваня.

- Штой! Штрелять буду!

В руках у Володи и впрямь ружьё., оба ствола смотрели зловеще, палец на курке. Может и пальнуть Слава Богу, узнал:

- А-а, это ты, Ванюшка... Ну, проходи. Я думал, хто иж Питятич.

- Ты что, на охоту вышел?

- У наш тут штало нешпокойно. Народеч штал немирный, как на Кавкаже во времена Михал Юрича. Шуть што – штреляем.

- Совсем ошалели.

- Да ражве мы? Тут немши ш автоматами, татарва ш луками и штрелами, да ещё эти... и ш неопожнанного летающего... в шкафандрах ли, комбинежонах ли, хто их ражберёт!.. Ну и большевики, вроде штервы Мухина. Только и жди от них пакошти. В опщем нечишьт вшякая ражвелашь

Оказалось, Вролодю Немтыря поставили на охрану границы: в Пилятицах у власти коммунисты, а в Вахрамейке демократы.

- Разница между ними большая? – осведомился Ваня, соображая, как бы повести разговор, чтобы узнать об Устьянцевых.

Разница, как объяснил Володя, в том, что у одних на все право частной собственности, а у других собственность общественная.

- Мы прогрешивные, а они наоборот, - пояснил Немтырь.

Вот только единства в прогрессивной Вахромейки нет: монархисты завелись.

- Кто же ратует за восстановление монархии? – заинтересовался Ваня.

Оказалось: пенсионеры и пионеры.

- А ты, Володя, на чьей стороне?

- Я – жа анархию. Анархия – мать порядка.

- А что это такое применительно к вашей деревне?

- Ты што, ни разу не грамотный? – возмутился Немтырь. – Не ражбираешься в политике?

- Не разбираюсь. За это в Пилятицах по шее дали.

- Кто?

- Какой-то тип в форме военной.

- Это Алфёров. Форму эту он нашёл в сундуке у учительницы Нины Штепановны. Я его приштрелю, как собаку! Он мою аппаратуру иш кинобудки уволок и переделал в шамогонный аппарат.

Наверно, от возмущения Немтырь далее стал говорить более ясно и отчётливо. Он горячо объяснил Ване, что выступает против всякой государственной власти, поскольку, мол, от неё все беды. Безвластье – вот что хорошо! Никто никому не начальник!

Но политические воззрения Володи Немтыря не интересовали Ваню Сорокоумова. У него была другая забота: где Катя Устьянцева, что с нею.

- Давай сначала создадим федерацию суверенных деревень, - предложил Немтырь. - Заключим оборонительный союз...

- Но ты же анархист! Значит, должен быть против всякой государственности.

- У нас переходный период! – настаивал Володя. – Мы будем дружить на междеревенском уровне.

Тут выяснилось, что как раз сейчас в коровнике возле деревни Вахромейка идет раздел колхозного имущества, там все жители деревни.

- Почему именно в коровнике?

- Скот делим по частным хозяйствам.

- А ты чего же здесь?

- Охрана границы – дело святое.

Имущественные дела Немтырь поручил вести своей жене. Сначала разделят скотину, потом примутся за инвентарь, потом за землю...

- Владеть землей имеем право, а паразиты никогда.

- Не ли каких новостей по радио? – спросил Ваня, не зная, как повести разговор в нужном ему русле.

- Давеча был я у тётки Вали, у неё пилятицкие поселились – Устьянцевы...

Ага, вот они где! Эта тётка Валя им родня, она Катиному отцу то ли сестра, то ли тётка.

- Нет ли у кого-нибудь радиоприёмника?

- Да что тебе радио! – отмахнулся Володя. – Что они нам скажут? Небось, в столицах шум, гремят витии, идёт словесная война...

- А здесь, во глубине России, тут вековая тишина?

- Как бы не так! У нас тоже, как видишь... Никому до нас дела нет, никто нам не поможет, кроме как мы сами себе. Ты, Ванюха, своё Лучкино политически ориентируй на нашу Вахрамейку. Понял? Вот тебе моя рука, на междеревенском уровне заключаем союз о вечной дружбе на вечные времена... Будем сражаться за свободу и независимость наших деревень!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1.

На кресте Пилятицкой церкви сидел чёрный ворон – то ли тот самый, которого Ваня видел над своей деревней, то ли другой. Этот тоже оскорбительно каркнул ему навстречу и нехотя поднялся на крыло.

Ваня постоял тут, возле креста, - опять он был один на снежной равнине. – Вот нора, пробитая им, когда опускался по шпилью колокольни... вот норы над домами Пилятиц – если подойти к любой из них и нагнуться, можно услышать живые звуки села: голоса людей, скрип колодца, собачий лай... или даже выстрелы.

Идти назад было боязно: вдруг опять появятся волки.

«Можно зарыться в снег, - подумал он, - нет, раскопают... Ружье надо».

Успокаивало то, что по всей равнине, что просматривалась на много километров, не было ни единой движущейся точки. А до своей деревни можно добежать за полчаса. Да что! За четверть часа.

ОН встал на лыжи, еще раз огляделся – снежная равнина кругом, бледно-голубое небо над нею и холодно блещущее солнце, а больше ничего. И тихо так, что ни звука. Даже хруст снега под ногами глохнет в этой тишине.

Ваня скользнул взглядом по горизонту; там, где Воздвиженское, не за что зацепиться глазу; и там, где Овинищи и Сельцо, - тоже ничего; над Боляриновом, Кулигами, Тиуновом – ни былинки, ни соринки. Лишь в одну сторону в отдалении по снежному полю уходили прутья – это те, что он воткнул в снег, когда шел сюда; можно было разглядеть вдали темную точку – горшок. Родной горшок был отличным маяком на этой равнине, под ним – Лучкино.

И вот так медленно скользя взглядом, Ваня как бы наткнулся на препятствие: словно акварельные мазочки один над другим маячили вдали, всего два – синий и красный. Что это может быть такое?

Он заинтересованно заскользил туда и чем далее, тем проворнее. «Оттуда уж домой», - так решил.

Ветер дул порывами – то тихо, то вдруг налетал порывами напористо, желая сшибить с ног. Озорной ветер, даже хулиганистый. Если б без него, то и не холодно было бы, но под его напором прямо-таки каменела правая щека.

То, что так заинтересовало его издали, не исчезало и не менялось – напротив, становилось четче и крупней: на бескрайнем снежном поле стоял... вроде бы, деревянный щит высотой в человеческий рост, и укреплен прямо на снегу. Ну да, это был фанерный щит, выкрашенный в три цвета – поверху белыми, в середине синькой, у самого снега – кирпично-красной масляной краской.

«Если я в этом что-то понимаю, - сказал себе Ваня, - этот щит изображает флаг российский. А поставлен он, как сигнальный буй над местом крушения корабля. Если я не ошибаюсь, именно здесь деревня Починок, и ничто иное. А фанерный флаг соорудил Паша Кубарик».

Рядом со щитом было натоптано – можно смело предполагать, что воздвигнув символ государства, бывший моряк Паша сыграл на гармошке своей что-нибудь патриотическое, вроде «*Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»*», и помаршировал вокруг, давая понять неведомо кому, чтоб не рассчитывали на победу.

Тут же, в нескольких шагах, обнаружил Ваня и отдушину деревни Починок, вернее одного обитаемого дома – ветром отнесло в разные стороны черную сажу и пепел. Веяло от отдушины теплом, смолистым дымком и чем-то очень вкусным: то был запах вареного мяса и даже пирогов. С мясом дело ясное: без него Кубарик не живет, имея ружье. Но откуда пироги? Уж не оставил ли он зимовать с собой какую-нибудь дачницу? Или труба эта дышит воспоминаниями полувековой давности?

2.

Ваня сбросил лыжи, лег на снег, провис головой над этой отдушиной – ну да, гармошка похрипывает... да и весело так! Хотелось увидеть сейчас Кубарика, обменяться мнениями, да и просто себя показать: вот он я, не унывай, Пал Палыч, ты не одинок.

Но поди-ка, спустись по этой отвесной трубе, оплавленной теплым воздухом и схваченной морозцем. Небось, Паша тоже поднимался по лестнице, а потом убрал ее за собой на чердак.

- Пал Палыч! Э-гей!

Нет, гармошка похрипывала благодушно и лихо, не замолкая. Можно было даже слышать голос поющего:

*- Едут, едут юнкера гвардейской школы,
Трубы, литавры на солнце блестят.*

Откуда эта песня стала известна Кубарику? Да из телевизора, наверно! Мало ли у него телевизоров... Может, в деревне Починок и электричество есть?

Слепил комок из снега, кинул вниз:

- Ку-ба-рик!

Хорошо бы этот комок угодил во вьюшку, чтоб та загремела. А то ведь не услышит.

- Пал Палыч! Отзовись!

Замолкла гармошка... Нет, опять заиграла:

- Эй, грянем «Ура!», лихие юнкера.

Буль-буль-буль, баклажечка зеленого вина.

- Хорошо поет! – отметил Ваня.

Просто прыгнуть вниз было страшновато: неизвестно ведь, сколько придется лететь! Да и крышу проломишь или трубу развалишь... и ноги повредишь, ничего нет проще.

- Ку-ба-рик!

Нет, не слышит. Ваня постоял, размышляя, что делать. Отошел немного в сторону и увидел словно в твердой меловой породе вырубленную, аккуратную лестницу, в снеговую глубь уходившую. Это была не простая лестница, а винтовая. На каждой ее ступеньке - пластина из льда. Ну, Кубарик на такие художества большой умелец! Он славные корзинки плетет из тонких еловых корней – прочные, телесно-белые. И не только корзинки – хлебные тарелки, лукошки для ягод и грибов, подвески для цветов, а еще детские игрушки из бересты: столики, стульчики, кровати, игрушечную кухонную утварь... Много чего умеет этот Паша, он же Пал Палыч! Даже песню сложить. Про последний приют... или о великом мосте, который он строит к кому-то.

Ваня снял лыжи, опять воткнул их в снег и стал спускаться по лестнице вниз.

3.

Затиндиликало в ушах, вернее, где-то во внутреннем ухе, если такое есть... и он оказался на краю большого села. Стена снега осталась как бы у него за спиной, а перед ним была улица в сугробах, санный путь в лошадиных катышах... Невдалеке три женщины с ведрами на коромыслах громко разговаривали вперебой... Перед большим домом с крыльцом, выходящим к коновязи, стояли лошади, запряженные в сани-розвальни, мирно похрупывали сенцом... Над входной дверью – доска и на ней крупными неровными буквами рельефно обозначено: «Харчевня».

Это был тот дом, и именно та вывеска, что Ваня видел раньше.

- С дуба падают листья ясеня, - сказал он огорошенно.

С крыльца, запахиваясь в овчинный тулуп, сбежал мужик в подшитых валенках, поскрипывая снегом, отвязал лошадку, вальнул в сани – «Нно!» – и отъехал, не обратив на Ваню никакого внимания.

- Куда это меня занесло? – то ли вслух, то ли мысленно спросил себя Ваня. – Хар-чев-ня... Кто писал, не знаю, а я дурак, читаю...

Затем он сказал себе, как обычно, что хоть и сорок у него умов, но понять ничего невозможно. И так решил:

- Ладно, поиграем в эти игрушки, раз мне предлагают.

Он пересек улицу и взошел на крыльцо, бодро потопал на нем, отряхивая снег с валенок и решительно толкнул дверь.

Через пустые сени попал в чисто убранную комнату, с широкими лавками вдоль стен; десяток столов стояло тут в окружении табуреток. Еще один стол длинный – у окна в углу, на нем большой самовар, на конфорке – фарфоровый чайник; кудрявая струйка пара вилась над самоваром – все будничное, ничего особенного. Возле самовара с полотенцем через плечо сидела на лавке и протирала чашки молодая полная женщина, волосы у нее были убраны под красный платок, повязанный туго. В окна сквозь морозные узоры смотрело солнце, лучи его падали наискось, освещая чистый пол с лаково поблескивающими сучками.

Двое мужиков сидели за одним из столов, распаренные, жарко спорили о чем-то; полушубки их лежали на лавке, сами они остались в рубахах-косоворотках. Еще один мужик и мальчик лет восьми сидели за другим столом и пили чай из блюдец, держа их на растопыренных пальцах.

А за маленьким столом, напротив женщины, протиравшей чашки, сидел Паша Кубарик, играл на гармонии именно для неё и пел:

*- Справа повзводно сидеть молодцами,
Не горячить понапрасну коней...*

Женщина внимала ему благосклонно.

В простенке успел заметить Ваня картину: усатый грузный генерал на белом коне снес саблей голову в чалме другому всаднику.

4.

Спорившие мужики оглянулись на вошедшего и замолчали озадаченно. Мальчик и его отец тоже смотрели, дивясь. Паша Кубарик встал и пошел ему навстречу, держа гармонию под мышкой:

- Иван! Здорово, друг! Я знал, что ты меня найдёшь. Кто ещё, кроме тебя? Только ты.

Он был слегка хмельён, но вот именно слегка, по-хорошему.

- Садись, Иван. Вот здесь садись и не дрейфь. Тут всё свои люди.

Они сели за ближний стол на табуретки. Ваня разгладил складку льняной скатерти с широким чайным пятном на углу, а сделал это с удовлетворением, словно сбылась какая-то его давняя догадка. Кошка подошла и стала ластиться у ног – всё это были приметы не призрачного, ощущаемого мира.

- Сёма! – позвала женщина у самовара. – Семён! Гости у нас.

- Давно ты тут угрелся, Пал Палыч? – спросил Ваня.

- Да я их только сегодня открыл... как остров в море-океане! – зашептал Кубарик. – Я и не знал... оказывается, они рядом обитают. Ты понял?

Из двери с занавеской к ним подбежал малый лет двадцати в рубахе распояской, дырявых валенках с лихо завёрнутыми голенищами. По его расторопности и удалым ухваткам – как повернулся да взмахнул полотенцем, кидая его на плечо, да встряхнул рыжей головой, стриженной под горшок, - он тут вроде официанта.

- Чего изволите, ваше степенство? – весело спросил он, обращаясь к Ване. Слегка запнулся, выговаривая «ваше степенство», но оправился, глядел весело и изумлённо, даже с нахальством.

Кубарик тоже смотрел, широко улыбаясь.

- А что у вас есть? – хмуро (чтоб не конфузиться) спросил Ваня.

- У них тут щи с телятиной хороши – с пылу, с жару, - подсказал Кубарик.

- Есть и вчерашние, кисленькие, - доложил расторопный малый. – Есть суп с бараниной, жареные потрошки, каша гречневая с гусиным салом, каша пшеничная, блины овсяные с маслом льняным или со сметанкой...

- Чай завариваете грузинский или краснодарский?

Это Ваня спросил.

- Какой тебе краснодарский! – зашептал Кубарик. – Ты что, не врубился? Они до Краснодара ещё не дожили, при них Екатеринодар.

- Турецкий чаёк пьем, ваше степенство, - нагло улыбнулся служащий. – Прямо от султана, из его чулана.

- Неси. И вон те булочки с бараночками.

- Понимаем... сей минут!

Малый тотчас оказался возле полнолицей женщины, что-то говоря ей.

5.

- Я тут сам в первый раз, - шептал Кубарик. – Вышел из дому на разведку... вдруг затиндиликало что-то в голове... и попал сюда. А что, неплохо тут, верно?

- Откуда это взялось? – спросил Ваня, а мог бы и не спрашивать: бесполезно.

- А не знаю. Наша деревенька-то ведь при большой дороге стояла, тут, и верно, раньше-то чайная была... или харчевня, не знаю уж. Это потом шоссе мимо нас провели.

- Игрушки... кто-то пошучивает над нами, - неопределённо сказал Ваня.

- Пусть и дальше так шутят... Плохо ли: шей похлебал, водочки маленько выпил. Вот только с деньгами у меня туго, да и не принимают они наших денег.

Малый уже бежал к ним с подносом и чашками на нём.

- Я хочу предупредить, - сказал ему Ваня, - буду расплачиваться вот такими. Устроит? Предупреждаю, чтоб потом недоразумений не было.

Показал десятирублёвку – она была с портретом. Семён принял её с интересом и бережно, как фарфоровую. Сходил к женщине, они там посоветовались, вернулся, ставши очень почтительным:

- Извините-с... В нашей стороне такие не ходят-с.

- Но ведь написано же по-русски: десять рублей, - возразил Кубарик. – Ты читать умеешь?

- Царь не наш, - твердо сказал этот служащий, разглядывая портрет на десятке со скептической усмешкой.

- Что же это, по-твоему, фальшивая?

- Фальшивой-то ассигнацией вы бы так не форсили, а сунули бы тишком. Но такие у нас не ходят.

- Как же быть?

- Да не извольте беспокоиться, хозяйка велела угощать вас безденежно. Пейте-ешьте на здоровье.

- Но мы не шерамыги какие-нибудь! – строго сказал Кубарик.

- На обратном пути заплатите! – добавил Семен, обращаясь к Ване. - Да расход не велик, можно и за «спасибо».

- Тогда давай мне рюмку водки и хвост селедки, - распорядился Пал Палыч.

Сказавши так, Пал Палыч развернул гармонь, оглянулся на румяную женщину у стойки, похожую на купчиху с картины Кустодиева, Ване объяснил:

- Концерт по заявкам.

И запел с исключительной душевностью:

*- Вот и рухнули снова пролёты моста,
Что я строил к тебе, моё счастье...*

Семен между тем живо спроворил и рюмку водки, и жирную селёдку.

- На ярманку спешите? – осведомился он, не отходя от их стола и глядя на нового гостя с великим любопытством. – Покупать или продавать изволите?

- Изволим и то, и другое, - сказал Ваня, наливая в блюдце из чашки; невозмутимо взял кусочек сахара, стал прихлебывать, дую на блюдце.

Кубарик покосился взглядом на рюмку, но выпить не спешил, допел:

*- И хоть рухнули снова пролёты моста
Через пропасть меж мной и тобою,
Но уже шелестят, как два белых листа,
Два крыла за моею спиною.
И витают, витают совсем неспроста
Два крыла над моею судьбою.*

Речь в романсе шла явно о божественном покровительстве над гармонистом. И судя по тому, как внимательно слушала его кустодиевская «купчиха» у стойки, дела его были не безнадежны, великий мост строился успешно.

6.

- Овес нынче дешев у нас, - сказал Семен. – А вот лошади подорожали: за хорошую по три с половиной целковых просят.

- Хорошие-то и по четыре идут, - послышалось от соседнего стола.

- А Иван Савельев купил за три, - возразил Семен. – И коровы по три рубля.

- Мы не барышники – наш интерес насчет москательного да мануфактуры, - сказал Ваня, удовлетворяя явный интерес публики, и тем самым удивил Кубарика.

- Ванюха, москатель – это что? – спросил он.

- А черт его знает! – услышал в ответ.

- Василь Трофимыч, поди глянь, - позвал Семён.

Василий Трофимыч подошел, покрутил в пальцах десятирублевку, даже понюхал ее. Это был грузный мужик в яловых сапогах, краснорожий, пухлорукий.

- Ишь ты, - сказал он. – Где ж такие в ходу? Не у немцев ли? Может, своего кайзера да на наши деньги прилепили? Они хитроумны, бестии! Того и гляди что-нибудь учинят заради нашего ограбления.

- До этих денег вам еще дожить надо, - сказал Ваня самолюбиво.

- А почему такие в вашем государстве? Что дадут, скажем, на эту бумажку?

- Коробочку спичек, - весело сказал Кубарик.

Никто не засмеялся.

- И велика ли коробка? – деловито осведомился Василий Трофимыч.

- Полсотни штук.

- По двадцати копеек за спичку, - подсчитал Семен.

Тут они, мужик и служащий, значительно переглянулись.

- Беда в вашем государстве, - так решил Василий Трофимыч, отходя. – Беда... деньги дешевы!

- Беда, - поддакнул и Семен, удаляясь на зов хозяйки.

- Государство всё то же, что и у вас – Россия, - сердито заметил Ваня.

- А коли так, то вдвойне беда, - сказано было ему.

- Хорошего мало, - согласился Кубарик и выпил водочки.

- То ли ещё будет, - добавил Ваня Сорокоумов пророческим тоном. - Но ничего, выстоим.

7.

- Меня уж вчера приходили раскулачивать, - сообщил Кубарик.

- Кто? – насторожился Ваня.

- Какой-то деятель в кожаном пальто... Мухин его фамилия. И с ним ещё трое раздолбаев.

Ваня оглянулся: да, они сидят в теплой харчевне, самовар шумит на большом столе за которым женщина, похожая на купчиху... по крайней мере именно такими представлял себе Ваня купчих; мужики тут и там разговаривают о своём; кто-то вошёл... кто-то вышел...

- Приехали на двух подводах, - рассказывал Кубарик, - и сразу ко мне, как по наводке...

- Погоди, а как они добрались-то до тебя? Тем более на подводах.

- Вот этого я не знаю. Приехали, и всё тут. Вошли в избу мою, стали добро считать: сколько телевизоров, сколько диванов... Меня обозвали кулаком и мироедом, потом деклассированным элементом. И уж хотели выносить вещи, но я шарахнул из двухстволки поверх голов, они и ноги вверх... Кубариками выкатились! Целый день оборону держал, два приступа было, один раз пришлось врукопашную. Они хотели дом мой поджечь, но тут подмога пришла.

- Кто? Вот эти? – Ваня кивнул на сидевших в харчевне.

- Нет. Как тебе сказать... ты не поверишь... Белогвардейцы! Ей-богу, Иван, самые настоящие. Офицер ихний меня папирской угощал из золотого портсигара. Папироска – словно бы дамская, потому как табачок слабый и душистый. С офицером мы сошлись, Иван, душа в душу. Я ему на гармони сыграл – не что-нибудь, а «Гори, гори, моя звезда». Вот так. И ещё «Не пробуждай воспоминаний». А он песню мне напел, как в подарок, – весёлая! А я ж на лету любую мелодию схватываю!

Лейся, песнь моя-а-а, любимая-а-а,

Эх, буль-буль-буль, баклажечка зеленого вина.

Ваня слушал молча. О чём спрашивать: дело ясное, что дело тёмное.

- Они были на конях?

- Ну! Летучий отряд... как скорая помощь. Офицер этот распорядительный такой оказался, а в драке горячий. По-моему, они этого Мухина пристрелили, как собаку. Потому что он им всё про мировую революцию кричал. Увели его за крайние сараи да там и шлепнули. Я два выстрела слышал. Потом ходил туда, да ведь снег всё скрыл! Такие дела.

«Как бы не явились раскулачивать к нам в Лучкино», – подумал Ваня и встал, говоря:

- Мухины бессмертны: убьют одного, на его место найдётся другой. Всегда есть охочие пограбить. Ты домой собираешься?

- Нет, - покачал головой Пал Палыч. – Я останусь. Мне тут хорошо и без телевизоров да холодильников. Никак не могу уйти: баба больно красивая. Я ей магнитофон обещал подарить... или холодильник, как ты думаешь?

Только тут Ваня заметил метку на его рукаве, спросил:

- Что это у тебя?

- Знак, - построжав взглядом, молвил Кубарик. - седьмого молниеносного легиона.

- Что это такое?

- Тайная организация.

- Пал Палыч, если ты замышляешь свержение существующего государственного строя, тебе отрубят голову. Как раз на дубовой плахе, как у тебя в песне поётся. Выйдет на Лобное место палач в красной рубахе, злое сердце его разыграет, и покажется твоя удалая голова. Имей это в виду.

- Да ты же видишь: нет никакого государства. Всё рухнуло. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

- Это верно, - сказал Ваня, направляясь к двери.

Уже возле двери подскочил к нему Семён с лукошком, опять повеличал «степенством».

- Ваше степенство, возьми на дорожку снеточков сушёных с Переславля. Проезжающие страсть любят их. Понравится – на

обратном пути закупишь хоть целый воз... или обоз. Только уговор: денежки готовь другие.

Говоря так, он совал снетки горстями Ване в один карман и в другой.

Кубарик попрощался с ним, сказал:

- Иван, помни: мы люди русские, славяне. Знаешь, как наши братья поляки говорят? *«Еще Польша не сгинела...»*, а наши братья украинцы: *«Що не вмэрла Украйна...»*. А у нас должно быть на уме: *«Ещё не погибла Россия, пока мы живы!»* Вот так.

- Ладно, - отозвался Ваня. – Я о своём долге помню.

Когда спускался с крыльца, на него из окна смотрели, переговариваясь, женщина-купчиха и Кубарик, а в другом окне мужики незнакомые.

Ваня потоптался неуверенно возле коновязи, и тут к нему как бы придвинулась стена снега и уходящая вверх ледяная лестница... Поднимаясь по ней, попробовал снеточков – куда как хороши! В меру солёненькие, с рыбным духом, вкусные...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1.

Лыжи оказались на месте. Встал на них, огляделся – все по-прежнему: вот трехцветный щит, вокруг снеговая равнина насколько хватает глаз солнце светит.

Он не видел отсюда тех прутиков, которыми обозначил свой путь от Лучкина к Пилятицам, но зато четко виден был вдали в одной стороне крест пилятицкой колокольни, а в другой черная точка – горшок над Лучкином. Ваня уверенно отправился домой.

Ветер теперь был попутный, он все ощутимей толкал в спину – прямо-таки хоть палками не отталкивайся, просто держись во весь рост, сам себе парус.

Что-то заставило его остановиться и посмотреть в сторону. Он увидел совсем недалеко нечто, имевшее шарообразную оболочку размером... да невозможно было определить размера, не зная расстояния! Казалось, это всего лишь мыльный пузырь, пущенный кем-то, но, пожалуй, всё-таки слишком большой для мыльного пузыря. А ещё оно походило на лягушину икринку огромных размеров, в которой можно было рассмотреть и «головастика», похожего на человечка. Да это и был человек, должно быть мальчик! Он шёл, помахивая в такт шагам руками, весь заключенный в эту «икринку».

Не сознавая, что делает, Ваня двинулся следом, не приближаясь и не отставая. Насмелившись, даже окликнул:

- Эй!

Показалось, что человечек оглянулся и прибавил шагу. Ваня стал отставать. Так шли некоторое время, и впереди обозначился как бы уклон. Лыжи заскользили ходко, но Ваня притормозил, потому что впереди, в отдалении, куда катышем-шагом двигался человек-головастик, стало заметно снежное возвышение.

Это было как раз то место, где из большого облака, похожего на птицу, опустилось белое яйцо. Тогда из-за дальности расстояния невозможно было рассмотреть разброс снега на месте его приземления, а теперь вот, замирая сердцем, замирая всем своим существом, Ваня Сорокоумов поднялся на снежный вал и увидел...

Да, в середине снежного кратера поместился странный объект, вовсе не похожий на яйцо, скорее на дирижабль. Поверхность его была известково-белой, серебристой и этак не совсем чёткой, с коротким излучением текучего света. Этот свет скрадывал поверхность. Более же всего он был странен тем, что имел... паруса. То есть три мачты стояли прямо, держа их, и над «кормой» нависал косой парус. Ясно можно было различить круглые иллюминаторы, располагавшиеся в ряд, как бы ватерлинии, и статую женщины с распущенными волосами, венчавшую нос корабля; под нею из бортового отверстия – оно ведь называется *клюз!* – тянулась вниз заиндевевшая цепь, и якорь, настоящий якорь, лежал, зацепившись за мёрзлую землю.

Страх и любопытство боролись в Ване. Наверно, любопытство победило бы, но вдруг подул ветер, взметая и взвихряя снежную пыль. Ветер ударил в лицо, Ваня попятился, его стало относить помимо воли, он оглянулся: где там крест пилятицкой церкви и где разбитый горшок над Лучкином? Их ещё можно было различить, но они вот-вот исчезнут. Ваня заспешил в тревоге, угадывая направление

2.

Должно быть, на полпути нагнал его вдруг снежный вихрь, словно курьерский поезд, ударил в спину и тотчас исчезло все: и солнце на небе, и крест справа, и горшок прямо по курсу. Некоторое время Ваня держался устойчиво, но потом его сшибло с ног, он упал на руки. Ветром завернуло куртку на голову, покатило его, переворачивая с боку на бок; Ваня изо всей силы воткнул палки в снег, держась за них возле самых колец, и так лежал некоторое время, головой к ветру, а ногами к Лучкину. Хоро-

шо хоть лыжи удержал на ногах! Оглянулся в одну сторону, в другую – снег слепил глаза. Что творилось вокруг! Локомотив, сбивший его с ног и подмявший под себя, уже удалился, но теперь ровно, не ослабляя силы, мчался снежный поезд прямо по распластанному человеку – ни встать ему, ни сесть. Ваня поднял воротник куртки, надвинул шапку на брови, подтянул ноги, досадуя в нетерпении:

- Долго мне так лежать? Замерзну...

Чувство, что вот он один-одинешенек на поверхности огромной снежной планеты, не отпускало его. Оно заставляло осознавать свою крайнюю ничтожность, словно искорки, отнесенной ветром от костра, которая того и гляди погаснет; а огонь, он едва-едва теплился где-то под снегом, как уголек под толстым слоем золы.

Прошло уже довольно много времени. Вокруг лежавшего образовался продолговатый сугроб; снег запеленывал, укрывая и согревая. Говорят, в таких случаях главное – не уснуть: замерзнешь.

«Что творится! – думалось в бессильной обиде. – Никакого порядка. Снежные поезда ходят без расписания, правил дорожного движения не соблюдают. Задавили человека – и отвечать некому... и никто не выручит».

С этой обидой он задремал.

3.

Приснилось утро парное, розовое. И травка-то зеленела, и птички-то пели, и солнышко-то светило... даже шмель гудел совсем рядом. А проснулся уже не здесь, в снегу, а дома. Сел будто бы на кровати, стал одеваться. Мать заворочалась, сказала сонным голосом:

- Как ни усну – явится мне солнышко... Будто светит нам в окна и геранька наша цветет.

Вышел на крыльцо – воздух свежий, влажный. Сел на ступеньку. Сверху бодренько, этак мелким дождичком просеивался ровный свет. И вообще что-то переменялось в окружающем мире, а что именно, не понять.

Мать тоже вышла.

- Хотя бы время знать, - сказала она, зевая. – И дрова мы с тобой с вечера забыли занести в избу. Теперь как сырыми печь растапливать?

Тут случилось маленькое происшествие, которое их обоих почти испугало: сверху, пробившись через толщу снега, прямо перед ними упала на землю тонкая струйка воды. Она была подобна витой веревочке. Забавный этот водопад обрызгал ма-

тери валенки, она отступила – мокрое пятно расплывалось на притоптанном снегу у крыльца. Она засмеялась:

- Хорошо хоть не за шиворот!

- С дуба падают листья ясеня, - пробормотал Ваня, тот, что лежал в снегу.

- Ни фиги себе... ни фиги себе... - вторил тот, что сидел на крыльце своего дома, глядя вверх, откуда падала отвесно струйка воды.

Тут заметили, что капает и с карниза... Капель пробивала рыхлый снег насквозь. И где-то из-за крылечка тонкий звук раздавался – будто воробей клевал зерно в жестяной баночке.

- Ваня, тает, - радостно сказала мать и слушала звон жестянки, как музыку. – Ей-богу, тает... Господи, да неужели!

Он кинулся в сени, оттуда влез на чердак и через окошко по крыше – крыша была мокра! – к трубе. Лестница здесь стояла по-прежнему, но когда он ступил на нее, она покосилась – снег слабел и стал как вата. Капли стекали по краю снежного «дымохода», обгоняя друг друга.

Вылез – вверху сияло голубое небо... И от солнца дышало теплом, словно это не солнце, а круглое чело печи – вот подбрось туда пару-тройку сухих поленьев – будут гореть, потрескивая и постреливая вниз угольками. Снег на поверхности равнины уже привял, следы отпечатались на нём чётко, и наст не держал.

- Таем! – закричал Ваня вниз. – Слышь, мам! Снег тает!

Спустился опять к крыльцу, а уж в том месте, где сверху просочился сквозь снежный пласт ручеек, образовался колодец, и в нём тоже виднелось небо и солнечный свет.

А мимо крыльца – ручеек, задорный, бойкий. И ещё один пробился через дорогу от рухнувшего двора Анны Плетнёвой. Вода струилась по тополию сверху вниз – по веткам малые ручейки стремились к общему руслу, то есть к стволу, а от ствола журчливый поток огибал двор и торил, торил себе дорогу в огород, вниз, к Вырку. Снежный пласт напитывался водой, проседал.

Водополица началась в Лучкине! Вырок выплескивался из своей низинки до самых огородов, подбирался к телятнику. Смыло мост возле кузницы...то есть возле того места, где была когда-то кузница; снесло неведомо куда и мосточек за огородом Митрия Колошина! Старый амбар на краю деревни покривился ещё более – у него подмыло угловой камень; покосилась и теплушка телятника, в которой грели воду и хранили бидоны с обратом и комбикорм в мешках...

Проснулся Ваня – тот, что лежал в снегу, – нет, не Вырок шумит, а ветер в ушах. Однако он стал, вроде бы, потише: порывы его не налетали так яростно, как прежде. Что же, не век так лежать, не попробовать ли хоть что-нибудь предпринять? Борясь с ветром, выпрямился – ветер напирал, но уже не мог свалить с ног. Палки одной не было – порылся в сугробе, нашёл. Огляделся, поехал нерешительно, то и дело тормозя и каждую секунду надеясь, что вот сейчас в снежной кутерьме разглядит вешку.

Совсем рядом мелькнуло что-то рыжее – лиса? – нет, кувырчалась чья-то шапка! И так близко, что он успел схватить её. Большая, роскошная шапка на лисьем меху... Откуда она?.. Да снесло у кого-то с головы! Но у кого?!

- Э-гей! – закричал Ваня, с трудом упихав шапку за пазуху. – Кто тут есть?

Рот тотчас забило снегом. При таком ветре шапку эту могло принести из-за тридевяти земель, так что кричать можно долго, и всё без толку.

В растерянности и рассеянности он, кажется, забрал вправо. Повернул левее... правее... Нет прутьиков-вешек!

Вот теперь стало по-настоящему страшно. Уж и роскошной шапке-находке не рад был: он потерял свою деревню! Наверно, повалило или сломало ветром его прутьики и тот однорогий ухват, на котором горшок; небось, снегом забило и дымоходы над трубами – теперь Лучкино запечатано, как запечатывается детва в пчелиных сотах или муравейник перед дождем, не отыскать никаких примет. Теперь он пропал.

От этой мысли стало так холодно, словно снегом посыпало куда-то в грудь, возле самого сердца.

В снежной толще внизу, то есть в самом снеговом пласте, несколько в стороне проплыли один за другим два белых огня – это были плотные сгустки света, не имевшие очертаний, и двигались они друг за другом, но не строго по прямой, а довольно прихотливо, будто живые, причем ведомый отнюдь не повторял колебаний ведущего, хотя и двигался следом. Ваня, загораживая рукавицей глаза от ветра, следил за ними.

Они еще не скрылись, когда с другой стороны показался еще один такой же огонь или сгусток света; он перемещался наискось, снизу вверх, как раз на него, стоявшего в метели, все увеличиваясь, то есть становясь все ярче и ярче. Это что-то, не имевшее формы, а лишь излучавшее свет, остановилось, покалебалось из стороны в сторону уже над ним в круговерти вьюжной, потом стремительно стало удаляться и пропало.

Он постоял, озадаченный, взволнованный. Пробормотал:

- «Вот опять фигня летала... и на нас икру метала...» – и продолжил поиски спасительной вешки – черного горшка. Пово-

рачивая туда и сюда, все еще не теряя надежды: где-то рядом... Не может быть, чтоб потерялся совсем.

- Ва-ня! – донеслось до него откуда-то.

Голос матери, как бы оторванный ветром, летел сам по себе, подобно тем огням.

- Ва-ня! – принесло снежным вихрем.

Откуда эти отчаянные крики? Зовут на помощь или просто голос подают ему, заблудившемуся в снежной коловерти?

- Ва-ня!..

Опять поворачивал он туда и сюда. Казалось: вот отсюда крики... нет, совсем с обратной стороны!

5.

А неподалёку в снежной сумятице шли двое в одеждах странного покроя. Они заметили его, приостановились, наблюдая за ним и о чем-то переговариваясь между собой. И он увидел их, подумав:

«Что это? Сон...».

Нет, это был не сон. Его осенила догадка:

«Это люди с того дирижабля».

А они как бы обрели вдруг власть над ним. Повинуясь ей, он остановился. И метель вокруг вроде бы унялась немного. Ваня теперь ясно видел их.

Они были в необычных одеждах, вроде комбинезонов, но голубовато-зеленых, с блестками, с неким отраженным светом. Ваня испытывал странное напряжение души, и ему было не до того, чтобы разглядывать незнакомцев.

На их лицах лежала печать холодного интереса, какой бывает у человека, склонившегося над муравейником.

Мгновенно поняв, что и в нём, как цыплёнок в яйце, бьётся желание вступить с ними в разговор, они переглянулись и голос одного из них прозвучал не в пространстве, их окружающем, а как бы внутри Вани:

- Что нужно этому аборигену?

У него с незнакомцами состоялся быстрый разговор: они спрашивали, он отвечал, но суть их вопросов и суть своих ответов не запечатлевались в памяти. Так берут данные из компьютера или воду из ручья: всё происходило не по его воле, впрочем, без насилия с их стороны и без сопротивления с его стороны. Однако же волевым напряжением он преодолел течение беседы, сам стал спрашивать. Среди прочего вот о чём: как велика площадь под великими снегами.

- Восемьсот земных мер, - ответили ему.

Он так понял, что речь идёт о квадратных километрах, но, может быть, ошибался.

- Возможно, потом будет больше, - добавил один из них.

- А что, собственно, происходит? – спрашивал Ваня уже требовательно. – Кто затеял это природное явление и управляется ли оно кем-нибудь?

Он переглянулись, и в памяти запечатлелось лишь вот что:

- Мы многого не знаем и сами. По-видимому, произошло смещение пространства... из-за какой-то расчётной ошибки. Процесс пошёл стихийно... мы пытаемся понять...

Что-то они темнили, не хотели ему говорить.

- Какое смещение? Что за процесс? – возмутился Ваня.

Они переглянулись и опять молчали.

- Навалило снегу – зачем? почему? надолго ли? – настойчиво спрашивал он. - Это неблагородно - понимаете? – превращать нас в мышевидных.

По мере того, как говорил, он всё более сердился.

- Вы что, деятели! Сознаете ли вы последствия всего этого? Ведь тут живут люди!

- Нет-нет, - заверили они. – В этом виноваты не мы, а вы сами. Но не отчаивайтесь.

Пока собеседники так утешали его, они в то же время обменивались между собой краткими замечаниями; лица же их были по-прежнему бесстрастны.

- Мы не можем позволить себе объяснение, - наконец, признались они. – Законы мира таковы, что... говоря по-вашему, лошадка может везти только тот воз, который ей по силам. Иначе надорвётся и погибнет. Бремя знаний непосильно для вас.

После этого они отступили в метель

- Пойдите! – закричал Ваня. – Куда же вы? Мы не договорили...

Он пошёл было в ту сторону, куда они скрылись, но услышал голос матери. Черный горшок на ухвате однорогом словно бы сам вышел из вьюги, и Ваня увидел мать – та звала его, высунувшись из норы по пояс...

6.

Изба Сорокоумовых была жива: печь тепла, часы тикали спокойно и размеренно, показывая свое собственное, а не московское время; на печи сушилась мокрая куртка, из кухни пахло чем-то вкусным. Кошка неслышно прошлась по полу, как привидение, - истинная ведьма, эта кошка; глаза ее какое-то время светились в углу, потом потухли.

Маруся не могла надивиться на шапку, которую он извлек из снежной замяти и принес с собой.

- Ты уж не ограбил ли кого, Вань? – пошутила она.

- Погулял с кистенем на большой дороге, - отвечал он полусонно: сидел, прислонясь спиной к теплой печи, разморило.

Это была шапка, как шапка, - обычный треух, но такого яркого, такого сияющего рыжего меха не могло быть у лисы. А если не у лисы, то у какого зверя? Кто мог иметь столь богатую шубу? И невообразимо, чтоб этот мех изготовлялся кем-то где-то искусственно – он был исключительно мягок, ласков. И вот ещё что: подкладка у шапки была тоже необыкновенно шелковиста, с декоративным рисунком в виде повторяющихся загадочных знаков. Те знаки не походили ни на буквы, ни на цифры, ни на иероглифы – они были словно бы не человеческого, не земного происхождения.

Маруся нахлобучивала шапку себе на голову, заглядывая в зеркало, выворачивала её и пыталась рассмотреть при скудном свете странные письмена.

- Вань, это не просто узор, а именно знаки или буквы.

- Это почтовое сообщение, - отозвался он. – Вместо письма посылают куртку кожаную или шубу меховую или вот шапку, на них и пишут заветные слова... Неплохой обычай!

- Кто пишет?

- Спроси что-нибудь полегче. Может быть, те, что на корабле с парусами... приплыли да и разгуливают... в лапоточках и в шапках. Будут обитать рядом с нами и устраивать всяческие происшествия. Чтоб мы не скучали.

За время его отсутствия в деревне случилось вот что:

шел по Лучкину кривой мужик с длиннющим кнутом на плече и играл на рожке, да славно так – коровы со дворов отзывались, не только Милашка Сорокоумовых, Зорька Махонина, Сестричка Колошиных, но и ещё чьи-то...

к дому Анны Плетнёвой пришел неведомо откуда здоровенный хряк, разрыл завалинку и улёгся там по-хозяйски. Маруся увидела его лежащим и удивилась не столько росту и упитанности хряка, сколько тому, что лежал он словно бы на солнышке и помахивал ушами, отгоняя мух; не зная, что делать и как поступить с этим неожиданным гостем, Маруся и подойти-то боялась к нему, но тут из-за дома вышла празднично одетая - в сарафане и при цветастом фартуке –баба хлестнула его прутом и прогнала; на Марусю эта баба оглянулась как на привидение и, перекрестясь, скрылась...

за домом Веруни у околицы появился рубленый овин и гумно при нём, на гумне хлебная скирда... а в овине печь топится, снопы сушатся...

за огородом Тарцевых в Вырке Маруся обнаружила вершу, в ней две щучки... «Хотела взять, - сказала Маруся, поглядывая на сына. – Да ведь мы вершу не ставили – значит, чужая»...

в кузне, что на берегу Вырка, кто-то подковывает лошадей; слышен и говор мужской, и стук молотка по наковальне, и конское ржание...

Митрий Колошин выудил из своего колодца горшок с молоком, спущенный туда на верёвке неведомо кем; показывал и Ольге, и Махоне, но молоко из него попробовать они не решились, и кончилось тем, что сам же Митрий неловко задел горшок, тот опрокинулся и раскололся.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1.

А ещё Маруся поведала сыну почему-то шепотом: из телятника пропали три теленка; у ворот остались следы подкованных сапог и телячьих копыт; следы уходили не в деревню, а в сторону Вырка и скрылись под снежной осыпью.

- Вот что я нашла там возле печки, - сказала Маруся и показала завернутые в бумагу два окурка от самокрутки. – Из наших лучкинских никто не курит. Вот тут и думай, что хошь.

Ваня внимательно рассматривал клочки газеты от окурков: на них можно было различить семейки букв «демокра», «ГКЧП», «Верх» – это на одном; а на другом – «КПСС», «КГБ», «ВПК», и «ворщики».

- Ага, какие-то ворщики! Только их тут не хватало!..

Кто может ходить в подкованных сапогах? Откуда эти люди явились сюда? Что намерены делать дальше?

- Как мы теперь объясним пропажу? – беспокоилась Маруся. - И не оправдаться.

- Давай сначала обтаем всей деревней, - сказал Ваня, не показывая тревоги. – Вот сойдёт снег... если, конечно, он сойдет! - тогда и будем оправдываться.

Про Пилятицы он сказал коротко:

- Все хорошо, за исключением пустыков: связи с городом нет, магазин пуст... в народе разброд и шатание. К добру ли, к худу ли, но собрался съезд пилятицкой компартии, на повестке дня у них два вопроса: ликвидация кулачества как класса и нашествие татаро-монгольской орды. Уже лозунг намалевали на куске простыни: «Решения партии – в жизнь».

Ничему этому Маруся не удивилась, словно все в порядке вещей.

- Ну что, видел свою Катю? – невинно поинтересовалась она.

Он сделал вид, что не слышал вопроса. Маруся не стала допытываться, а то, пожалуй, рассердится сын.

- Хлеба нет больше, переходим на картошку. И керосин кончается – скоро в темноте будем сидеть. Это беда, Вань.

Верунины ребяташки опрокинули в сенях четвертную бутылку с керосином, осталось чуть на донышке – надолго ли хватит? Махоня жаловалась: и у неё он кончается. У Сорокоумовых жалкие остатки плещутся в банке жестяной. Митрий Колошин более запаслив: у него, сказал, есть литров десять, но куда поставил бачок с этим керосином, не помнит. И опасается, что украл кто-то...

- Я сказала ему: «Некому воровать, Митрий Васильич». А он мне: «Как это некому? А эти, на мотоциклах?» Помешался на своих фашистах. Всё воюет

- За Кулигами мазутный склад, - сказал Ваня, подумав. – Может там есть и керосинчик? Схожу туда завтра.

- Не ходи, - обеспокоенно нахмурилась Маруся. – Не отпущу. Опять потеряешься в таких снегах.

- За мной присматривают, заботятся, - сказал он.

- Кто?

- Небожители... Я с ними даже побеседовал.

Мать решила, что он так пошутил.

2.

- А Веруня всё спит? – спросил Ваня.

- У нее гость... - после нерешительной паузы сообщила Маруся - Кажется, она влюбилась... в очередной раз. Очень уж бодра и весела.

Ваня посмотрел на неё внимательно:

- Какие гости у неё могут быть?

И вспомнил:

- Неужели опять те?

- Один. Я с ним разговаривала. Сказал, что командует летучим отрядом. А с кем воюет, не объяснил.

- С Веруней, наверно.

Маруся улыбнулась.

- Он не украдёт её? – поинтересовался Ваня. – Не осиротит детишек?

- Откуда я знаю! Веруня легкомысленная стала. Она готова на край света за ним.

- Всё смешалось в деревне Лучкино... - произнёс Ваня глубокомысленно. – Каждая несчастная семья счастлива по-своему.

Им почудилось в эту минуту, что где-то этак в отдалении кто-то играет на гитаре... и поёт мягким баритоном. Маруся тихо засмеялась.

- Из чего он вдруг материализовался-то? – недоумевал Ваня. – Может быть, он не живой человек, а фантом, а фантом из запредельного мира?

- Какой тебе ещё фантом? Просто князь, - сказала Маруся убеждённо. – Он мне руку поцеловал.

- Это достаточное основание, чтобы считать его князем?

- Не насмешничай над матерью. При нём человек, вроде адъютанта, называется «вестовой». На посылках, значит. Вестовой называет его «ваше благородие». Он мне сказал, что его командир - из князей. Да это итак видно!

- Тебе понравилось его галантное обращение:

- Понравилось, - призналась Маруся. – Мне, Вань, ещё никто и никогда руки не целовал.

- Товарищ, вы антисоветски настроены! Кто ваши родители и чем они занимались до революции? Небошь, недобитые буржуи?

- А ты неотёсанный, бескультурный человек. Серый, как валенок.

Маруся почему-то не сдержала досады.

- Проклятый белогвардеец, - усмехнулся Ваня. – Совсем задурил вам с Веруней головы.

- Ишь, как он о матери-то!

- Я хочу с ним познакомиться, - заключил он.

- Вань, тебя туда не приглашали, - сказала Маруся.

- Да уж, от них дождешься приглашения! Но я был бы последним простофилей, если бы упустил такой шанс: какой-то проходимец выдает себя за князя, он должен быть разоблачен. Кстати, если б он был князем, вестовой звал бы его «светлостью». «Ваша светлость, не вешайте лапшу на уши...»

- Он не светлейший князь, а просто князь, - сказала Маруся. – Это он сам так объяснил.

- Ишь ты, а я и не знал. Я думал, они все «светлости».

Надо было непременно пойти и повидать его. К тому же выяснить, что именно курит его вестовой, не самосадик ли в самокрутках, а то ведь телятник подожгут, всех телят переведут, потом и спрашивать не с кого будет. Пусть эти вояки предъявят документы... пусть они докажут как-то, что их пребывание на этом свете имеет признаки материальности...

3.

Возле крыльца Шурыгиных стоял серый в яблоках конь под седлом – задние ноги в черных чулках и широкая траурная прядь в гриве. «Калистрат...», - мелькнуло в голове Вани. Конь высокомерно взглянул на подошедших, мотнул головой, звякнул

удилами, и продолжал хрупать сенцо – очень уж красив, прямо-таки неправдоподобно красив.

Ваня подошёл к нему, желая удостовериться, что это не призрак, не видение – была такая мысль – хотя ясно слышался и звон удил, и хруп снега под переступавшими копытами, и шорох сена, когда конь опускал морду к охапке. Положил ладонь на его шею и ощутил атласную теплую кожу: это Калистрат... конечно, это он!

Конь сделал движение, отстраняясь от него, словно говоря: не слишком ли ты фамильярен со мной, парень?

- Калистрат, Калистрат, - говорил Ваня, улыбаясь и чувствуя, как растёт в груди благодарное чувство за то, что он есть на свете, этот конь.

- Идут! – сказала Маруся почти испуганно.

От огорода к избе гуляющим шагом шла Веруня в цветастой шали с кистями поверх старенького ватника и в новеньких сапожках, она смеялась, оборачиваясь назад. Ах, как она была хороша в эту минуту! Глаза сияли, щёки румяны и с ямочками, мелодичнейший голос... Следом за нею шагал высокий стройный офицер в расстегнутой шинели; на плечах его, почти закрывая погон, и на серой папахе с кокардой напорошено было снегу – он пригибал голову, но всё-таки задевал за снежные своды кем-то уже прорытого хода. Над обшлагом его левого рукава виднелись две нашивки из золотого галуна, одна над другой и над ними чёрная ленточка, чуть пошире галунов. Из распахнутой шинели сияли золотые пуговицы кителя.

- Нет-нет, - говорила Веруня, качая головой в цветастой шали, - вы меня не убедили. Всё не так просто, уверяю вас. Не вижу логики в ваших рассуждениях.

«Батюшки! Что за выражения! – так и ахнул Ваня. – Тон каков, тон! Великосветское общество... галантерейное обращение... Кино!»

А те остановились у угла дома, не обращая ни на кого внимания.

- Это несовместимо, как свист санных полозьев и щебет ласточки, но так, так! - горячо убеждал её офицер. – Такова жизнь, Вера Павловна. Именно такова.

. – Насчёт ласточек – это вы у Тютчева взяли. Я помню, у него где-то о странности сочетания этих звуков... *«Впросонках слышу я и не могу / Вообразить такое сочетанье... скрип полозьев на снегу / И ласточки весенней щебетанье».*

Ваня ушам своим не поверил: да Веруня ли это?! Откуда такие познания о Тютчеве? Никто и не слыхивал, чтоб она читала когда-то стихи.

- Ах, умница! – покачал головой офицер. – Всё понимает с полуслова.

А о чём, бишь, у них главный-то предмет разговора? Ясно что не просто болтовня.

- *«Не рассуждай, не хлопочи,/ Безумство ищет, глупость судит...»*

Это читала Веруня. А офицер подхватил:

- *«Дневные раны сном лечи, / А завтра будет то, что будет».*

Маруся сзади подтолкнула сына: не подслушивай, мол. Ваня нехотя взошёл на крыльцо. С непонятной ревностью подумал: гуляет, вишь, Веруня с кавалером, позабыв обо всём, ни до чего ей дела нет. Она же поймала его взгляд, в котором, должно быть, ясно видна была укоризна, и сказала, дёрнув плечом:

- Да, гуляю. А ты мне свёкор, что ли?

Офицер не оглянулся.

- Бессовестный, - укорила Маруся сзади, и Ваня получил ещё один толчок в спину.

- А что я такого сделал? – добродушно огрызнулся он уже в сенях. – Я только подумал... нелицеприятно. Думаю не прикажешь.

4.

В избу вошли – первое, что бросилось в глаза: на столе в хрустальной вазе – тюльпаны, яркие, большие. Такая ваза была у Веруни, но вот цветы... откуда? Понятно, что принёс их этот самый белогвардеец, но где он их взял! Можно поручиться, что в округе радиусом километров этак двести нет ни одного и захудалого цветка, а уж тем более таких пышных тюльпанов.

Огонёк керосиновой лампы и алые лепестки отражались в гранях хрусталя, и оттого ваза эта светилась сама, бросая блики на бедную обстановку избы.

Ребятишки Шурыгины возились у самовара в кухонном чулане возле печи. Самовар возмущенно шумел, в дырявом колене его трубы мелькал огонь. При виде вошедших братья-ухарцы от самовара отмежевались: это-де не наших рук дело, мы здесь, а он там, за углом печи.

- Бог помощь, мужики! – бодро сказал Ваня. – Как живёте-можете, чем занимаетесь? Докладывайте.

Но у «мужиков» докладывать охоты не было, они молчали. Маруся, как зачарованная, не отрывала взгляда от букета. Возле вазы на столе валялись фантики от съеденных конфет, а на пустой обертке шоколадной плитки улыбалась круглолицая женщина с ямочками на щеках, очень похожая на Веруню, и было написано: «Шоколадъ Миньонъ».

- Сергей Аркадьич обещал ещё принести, - горделиво похвастал Илюша, поймав взгляд Маруси.

Алешка что-то вынул из кармана и тайком разглядывал на ладони: уж не патрон ли опять?

- Что это у тебя? Дай-ка посмотреть, - сказал ему Ваня.

Оказалось, значок из оксидированного металла: орёл с крыльями, распахнутыми горизонтально; по орлу красная эмалевая лента с надписью «*Армия освобождения России*».

- Что, тоже подарок? Или... сам взял?

Алешка не успел ответить: в кухне вдруг раздался громкий выстрел; все вздрогнули. На залавке одновременно с выстрелом разлетелась на части пустая кринка, несколько черепков упали на пол. В чреве самовара зашипело, из него повалил белый пар, и струйка кипятка потекла не из краника, а сбоку, из образовавшейся вдруг дырочки с рваными краями.

Братья переглянулись. На лицах их не было испуга – только торжество и восторг. Секунду или даже больше Ваня онемело смотрел на самовар, потом отпихнул мать, чтоб она не стояла «в зоне обстрела», а сам встал, загораживая её и ребятишек.

- Сколько там? – спросил он у старшего, Илюши.

То оглянулся на братьев

- Сколько, говори! – закричал Ваня.

Илюша испуганно показал один палец. Ваня шагнул в кухню, опрокинул самовар и вытряхнул из его нутра бессильно шипевшие угли прямо на пол. Так и есть: в луже кипятка среди черных углей лежала разорванная гильза от винтовочного патрона.

Распахнулась дверь и в избу вбежал офицер:

- Кто стрелял?

Ваня показал ему ещё горячую гильзу. Пар валил и кухни, как из бани.

- Вот он, пятый! – сказал офицер и укоризненно уставился на ребятишек. – А я-то вам верил! Вы мне слово дали! Сказали, что четыре патрона у вас отобрали, а пятый вы бросили в колодец. Вы обманули нас!

Братья построились рядом спинами к печке – заняли оборону, обеспечив себе крепкий тыл.

- Это постыдное вероломство, господа! – возмущался Сергей Аркадьич.

- Зимогоры, а не господа, - поправила Веруня, неторопливо вошедшая следом. – Хулиганье! Отпетые головушки. Самоубьются они у меня, ей-богу.

Илюша был смущён, Никишка делал вид, что он тут совершенно ни при чём. А самый младший, Алёша, смотрел вызывающе: если, мол, вы все против нас, то мы ещё посмотрим, чья возьмёт.

Офицер сдвинул на залавке черепки – стала видна в обоях дырочка: пуля вошла в стену.

- Как же так, - повторил он. – Ведь тут речь о вашей чести, господа. Или для вас это пустой звук?

- Ай, да не расстраивайтесь вы, Сергей Аркадьич! – сказала Веруня. – Им что говори, что нет. Слава Богу, обошлось, и ладно.

- Вера Павловна, вы сознаете ли... они погибнуть могли!

- Они у меня могли погибнуть по десять раз на дню, - хладнокровно отвечала Веруня. – Вот погодите, еще что-нибудь утворят. У них возраст такой!

5.

- Приятно познакомиться с вами, юноша, я слышал о вас очень много хорошего, - уже успокоенно сказал офицер великолепным баритоном (все-таки это он пел давеча под гитару!) и протянул Ване руку. – У вас мужественное лицо, как у воина, побывавшего в сражениях.

- Мои сражения впереди, - со всей серьезностью отвечал Ваня.

- Шрамы украшают мужчину. Я выражаю вам уважение.

Промедлив всего мгновение, Ваня протянул ему руку, и в ответ ощутил крепкое пожатие. Теперь только он мог разглядеть ухажера Веруни: прямые брови, хрящеватый нос, жесткая линия рта... нет, это никак не соответствовало Ваниному представлению об аристократической внешности. Никакой он не князь – просто офицер, военный человек. У князя должно быть холеное лицо, изнеженные, почти женские руки, обязательно перстень на пальце, да и не один! А у этого лицо обветренное, рука лопатой, как у мужика деревенского. Но не потому ли Ваня почувствовал, что одновременно с рукопожатием попал под обаяние этого человека. Ощувив чужую власть над собой, Ваня нахмурился и мобилизовался для сопротивления, как давеча братцы-ухарцы.

- Не родня ли вам полковник Сорокоумов? Достойный человек, георгиевский кавалер, из столбовых дворян...

- Нет, мы родством с дворянским сословием не отмечены, - твердо сказал Ваня.

- Да откуда знать-то! – подала голос Маруся.

Офицер оглянулся на нее.

- Все сословия перемешались при Советской-то власти, - пояснила она. – Многие скрывали свое происхождение, и сами скрывались. А у нас и помещики жили. Как знать, может мы с ними в родне.

- Мы из хлебопашцев, - опять с твердостью в голосе сказал ее сын. – То есть самого благородного происхождения.

Офицер улыбнулся. Непостижимо красивым жестом он вынул из кармана портсигар – золотой! с тисненой крылатой женщиной на крышке! – щелкнул им. В распахнутых сияющих недрах портсигара уложены были плотно длинные папиросы.

- Вы позволите? – обратился он к «дамам».

Те «позволили», по мнению Вани, как-то очень уж готовно, словно того и ждали, когда он закурит. Сергей Аркадьич предложил Ване:

- Курите, юноша?

- Нет.

- Похвально.

Сердила эта снисходительность, несколько барственная манера обращения и то, что и мать, и Веруня глазами, полными великого интереса и даже восхищения, смотрели на офицера, а тот принимал это как должное, как привычное ему. В Ване выиграл дух дерзкий и драчливый.

- Поете под гитару, звените шпорами, щеголяете портсигарами, - ворчливо сказал он, обращаясь к офицеру. – Надо признать, делаете это, как профессионал.

Сергей Аркадьевич поднял брови, а Веруня засмеялась и пошла на кухню. Как она пошла! – походочкой легкой, почти танцующей. Куда девалась хромота!

- Я подозреваю, что вы и Гражданскую-то войну проиграли из-за того, что слишком увлекались обольщениями да развлечениями, - безжалостно продолжал Ваня.

- Ах, вот так вот! – тихо сказал офицер.

- Именно так! Накануне великой катастрофы вдохновенно расшаркиваясь, звенели шпорами, следили за выправкой своей... и лошади. Мундир такой, мундир сякой... А между тем к отеческому дому, называемому Россией, красного петуха подпустили.

Офицер выжидательно смотрел на него.

- «Сладостное внимание женщин – единственная цель всех наших усилий» – это про вас Пушкин сказал? Понятное дело: прогарцевать мимо барышень, промаршировать с песней: *«Справа и слева идут гимназисточки, как же нам, братцы, равненье держать!»* – это ли не удовольствие! Одних названий навывдумывали: лейб-гусары, кавалергарды, генерал-адъютанты, кирасиры, юнкера, кадеты... Красиво, черт побери! Ремни скрипят, шпоры звенят...

- У вас несколько... школьное представление обо всем этом, - быстро произнес Сергей Аркадьич. – Но ничего, продолжайте.

Маруся, которой не понравился язвительно-ворчливый тон сына, сказала:

- Вань, ты чего разошелся-то? Ишь, разговорился молчальник наш!

Офицер благожелательно рассмеялся, - Ваня замолчал.

- Говорите, говорите, юноша. Вы мне нравитесь.

- Послушайте, - Ваня перешел на более спокойный тон, - пусть я говорю не так и не то. Но главное вот в чем: какое вы имели право проиграть ту войну! Долг, честь, Отчизна, Родина, Россия – это что, для изящества выражений в дамском обществе? Или для убаюкивающих сказок ради этих ребят?

Странная запальчивость овладела им: сердился-то уже на себя, но тем безжалостней был к Веруниному кавалеру.

- Коли такие высокие понятия о чести в вашем офицерском корпусе, то почему вы сидите сейчас с такой бравой выправкой при том, что ведь были же побеждены! В той битве, которую вам нельзя было проиграть. Нельзя! Неужели это не ясно? А коли случилось так, то... печать на ваши уста и могилы пусть будут безвестны! А вы за дамами ухаживаете... галантно ручки целуете.

Сергей Аркадьич опечалился. Просто даже жалко было на него смотреть. Но и это не смирило Ваню.

- Вань, ты может, поел чего? – встревоженно сказала Маруся.

- Где наша Россия и что с нею? – требовательно спрашивал сын, не отвечая ей. – Разве нет на вас вины за то, что мы вот нынче стали уже мышевидными грызунами? Речь об этих бедных женщинах, старухах. Сколько одних только лучкинских мужиков поклали! Где лежат их кости? И в казахстанских песках, и в вечной мерзлоте Колымы, и по Европе... Кто-нибудь в ответе за это?

Наступила тишина. Веруня вышла из кухни, слушала.

- Я был убит на тридцать восьмом километре железной дороги от Ростова к Таганрогу, - миролюбиво сказал офицер. – Мне уже мертвому отрубили голову ради глумления и поругания. Мой череп и доныне валяется в кустах под насыпью, а прочие кости снесло половодьем в овраг.

Он остро посмотрел на Ваню и продолжил:

- Но мы не побеждены! Мы сражались все эти годы – у нас не было и минуты перемирия! – за Великую Россию – да святится имя ее! – за честь и славу великого народа...

Голос офицера пресекся от волнения, и за это волнение, овладевшее им настолько, что речь его стала юношески порывистой, - Ваня простил его и устыдился сам. Однако же и отступать не было охоты.

- Не обижайтесь, - сказал он виновато, - но вы, так называемое белое движение, давно уже нигде не сражаетесь. Вы лежите на кладбищах или просто... где попало. И не только на

родной земле. Исторические сочинения, пепел погасших костров, прах и пыль – вот что такое ваше дело.

- Вы не правы, юноша! Вы не правы. Борьба продолжается.

- Сент-Женевьев де Буа под Парижем... Ольшанское кладбище в Праге... Русские кладбища в Белграде, в Манчжурии, в Аргентине... да где их нет! О какой тут борьбе может идти речь?

- Все, что происходит здесь, на земле, зеркально отражается в небесных сферах, - Ванин собеседник глазами и движением головы указал вверх. – Там главное сражение, и мы в том воинстве, небесном, однако же за Отечество наше, за Русь, и на нас белые, а не черные одежды.

- Выдумки это, - отозвался Ваня, вздохнув. – Красивые выдумки, и больше ничего.

Сергей Аркадьевич снисходительно улыбнулся:

- Пространство истории не мертво, оно занято живыми людьми, и дела их имеют свойство продолжаться. А что до самого святого, то сегодня мы более близки к окончательной победе, нежели когда бы то ни было.

6.

Атмосфера как бы разрядилась, неведомо почему, напряжение спало.

- Мы с вами, юноша, в книге Рока на одной строке, - сказал Сергей Аркадьич строго. – Мы соратники, я только что убедился в этом, потому чрезвычайно рад нашему знакомству.

- Речи мы говорим хорошие, рассудил Ваня. – Кабы дела наши были так же хороши!

- Господь да поможет нам исполнить свой долг!

Сергей Аркадьич чуть склонил голову, давая понять, что серьезный разговор окончен, после чего улыбнулся Марусе и Веруне.

- А внимание женщин... тоже входит в вашу программу? – уточнил Ваня не без иронии.

- У сердца свои законы, юноша, - сказал этот белогвардеец. – Они не противоречат тому, о чем мы с вами только что говорили. Вы поразмышляйте об этом на досуге. На эту тему лучше размышлять вдвоем, - он посмотрел при этом на Веруню и повторил: - Лучше вдвоем.

Гость снял со стены гитару – откуда взялась в этом доме гитара? – струны отозвались на движение его пальцев, кажется, еще за мгновение до того, как эти пальцы коснулись их, гитарист подмигнул братьям Илюшке, Никишке и Алешке, дружно стоявшим у печки и внимательно слушавшим весь этот разговор, и запел приятным баритоном:

*- Кто нам сказал, что во тьме заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто нам сказал, что надежды потеряны,
Кто это выдумал, друг?*

Стукнула дверь сначала в сенях, потом избяная, вошел человек, весь заснеженный с головы до ног, в косматой папахе, прохрипел простуженно:

- Ваше благородие, есть известия.

Офицер тотчас встал, повесил гитару – она отозвалась жалобно, - как-то очень ловко, мигом застегнул пуговицы шинели, поправил фуражку, звякнул шпорами.

- Честь имею, юноша! Я буду помнить о своём долге.

- До свидания, храни вас Господь, - сказал он Марусе и поцеловал ей руку.

- Сергей Аркадьич, - встревоженно подалась к нему Веру-ня.

- Что бы ни случилось, не забывайте меня, Вера Павловна - тихо сказал он, обнимая ее. – Что бы ни случилось, - слышите? – я найду вас.

Они так смотрели друг на друга, что... видеть это было непереносимо. Ваня и Маруся отвернулись.

- До свидания, богатыри, - он пожал руку каждому из братьев. – Мы в книге Рока на одной строке, не так ли?

После чего вышел, сопровождаемый заснеженным человеком.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1.

Птичка выпорхнула, казалось, прямо из-под лыжни. Ваня остановился, следя за ее полетом: неужели зяблик? Ну да, именно зяблик. Что ж он не улетел по осени – остался зимовать?

Во все стороны снежная равнина – будь таким ровным зеркало, в него смотришь – изображение не исказится. И вот над этой равниной зяблик сделал широкий круг, звонко крикнул: «Пиньк! Пиньк!» и опять нырнул в снег неподалеку. НА том месте, где он выпорхнул, и там, где пропал, наст сквозил множеством отверстий – словно ласточки-береговушки наделали свои норы; в них просвечивали веточки елей и сосен – как раз под лыжами был лес...

Этот лес назывался Кулиги. Говорят, когда-то он подступал близко к Лучкину и охватывал его со всех сторон, но за последние десятилетия отступил и уменьшился, словно тающий

сугроб снега. В лесу этом на полянах брали хорошее сено. «Где косили?» – «Да в Кулигах» - «Почему дорогое?» - «Говорю же: из Кулиг». За ним на поле приземистое кирпичное строение на стенах которого мазутом написано «СЛАВА КПСС» и кое-что непечатное. Вокруг этого строения – цистерны, бочки... Здесь горючее для колхозной техники. Но как это место отыскать под снегом, вот вопрос!

Стало слышно, что внизу весело, бодро перекликаются птицы; значит, таков теперь у них быт – не на воле, а там, под снегом. Но вот что озадачивало: из тех норок, что в крепкой корке снега, доносился снизу знакомый лесной шум, словно там ветерок гулял среди сосен и елей, гулял свободно, как во дни давние.

Улыбаясь, будто разгадал хитроумную загадку, Ваня снял лыжи, воткнул их в снег, и палки тоже, чтоб не унесло ветром, если вдруг таковой поднимется; потопал, отыскивая слабое место, и нашёл его: нога глубоко провалилась, однако валенок оперся на что-то упруго прогибающееся. Очень легко торилась нора сверху вниз – снег не надо было расталкивать по сторонам, он куда-то проваливался, осыпался. Ваня нащупал рукой тонкую вершину ели и спускался, ловя ногами ветки возле самого ствола. Пахло хвойной зеленью, смолой и снегом – запахи эти радовали и бодрили. Попалось старое гнездо из прутьев – наверно воронье, они ведь вьют гнёзда высоко, на самых вершинах. Целая гроздь шишек оцарапала щёку...

Снег вокруг был крупичатым и осыпался, как песок. Вся толща его пронизана была множеством оледенелых нор, в каждой норе игольчатая веточка, словно она дышала и обтаяла вокруг себя снег. А внизу всё громче щебетали птицы.

Ваня, пожалуй, поторопился – обе ноги его вдруг соскользнули, в руках обломилась ветка... На мгновение будто комариный звон заполнил уши – по-видимому, это был краткий миг полёта

2.

...С этого мгновения жизнь Вани Сорокоумова как бы разделась надвое, словно разделилась на два русла, по которым и потекла, подобно реке.

Одно из них было таково...

Он осознал себя сидящим на мёрзлой земле, в осыпавшемся на него снегу, возле той ели, с которой упал. Вокруг стеной стоял снег, а ещё можно было различить, хотя и с трудом, силуэт оснеженного можжевельникового куста и старый пенёк рядом. Не об него ли ударился, когда падал?

Пошевелился – боль ударила его, словно молния и жаром отдалась во всём теле. Пощупал – что такое? – нога была неестественно искривлена ниже колена.

«Сломал...» – подумал он с отчаянием.

Попробовал подняться, ухватясь за толстые еловые ветки и подтягиваясь на руках, и застонал, почти теряя сознание.

«Ну вот... доигрался...»

Опять ощупал ногу – она сильно опухла как раз посередине между коленом и лодыжкой, но открытой раны не было. Ещё терпимо, когда сидишь, не шевелясь, но стоило только пошевелиться, боль пронзала всё тело и не удержать стога.

Чем дольше он сидел, тем сильнее охватывало отчаяние: при самом благополучном исходе, то есть если он как-то доберётся до дома – как доберётся? – надо же ещё в больницу. А как иначе? Вспомнил мать и представил её отчаяние... И Катю вспомнил, и ещё кое-кого... все будут его жалеть, как в прошлый раз. Вот не везёт!..

3.

Трудно сказать, сколько времени он так просидел. В какой-то момент показалось, что окружающие его снега обрели движение, как при снегопаде, и нечто имевшее прозрачную шарообразную оболочку... как пузырьёк воздуха в толще воды... как лягушиная икринка... Эта икринка росла стремительно, по мере приближения, а двигалась прихотливо, отнюдь не по прямой, будто её относило ветром туда и сюда. Это нечто приблизилось, вырастая до размеров обычного человеческого роста, а то что было внутри, обрело вполне человеческие очертания. Видно было, что внутри шарообразной оболочки шагает человек, помахивая руками. Человек этот остановился как раз перед Ваней, оболочка раздвинулась, он вышел и сел как бы на пороге образовавшегося проёма, как садятся на крыльце дома в вечернюю пору отдохнуть. Это был, вроде бы, мальчик лет двенадцати, то есть помладше Вани года на три-четыре - в сине-зеленой рубашке, как бы «матросочке», какие носили в прошлом веке, штаны заправлены в мягкие блестящие сапожки. Волосы забраны тесьмой через лоб, на лбу голубой камешек в виде капли. Этот паренёк спросил весёлым ясным голосом:

- Лежишь?

- Сижу, - отвечал Ваня, стараясь вовсе не шевелиться от резкой боли.

Они разглядывали друг друга. Сидящий «на пороге» был одет как-то очень уж просто, не по-зимнему, а вот что – не понять. Покрой его одежды скрадывал беспорядочный геометрический рисунок из ломаных цветных линий, треугольников, сег-

ментов. Трудно уловимы были и черты его лица – глаза как бы притягивали, хотелось в них смотреть и смотреть. А издали-то показался головастиком...

- Тебя зовут Иван-царевич? – весело и насмешливо спросил этот «головастик», спросил, кажется, не голосом, а глазами. Голос же прозвучал в Ване как бы внутри.

- Я Иван-дурак, - спокойно отвечал Ваня. – Можно называть ласково: дурачок.

- Почему дурачок?

- Стукнулся головой о камни, ума не стало.

Собеседник засмеялся.

- Я буду звать тебя *царевичем*, - сказал он. – А я – королевич. Нет, не так, зови меня иначе: *маленький принц*. Я читал одну вашу книгу... там был такой... мне понравилось.

- Кем себя назовёшь, тем и прослывёшь, - сказал Ваня.

- Хочешь покататься со мной? – предложил *маленький принц*.

- Нет, - отвечал ему царевич. – Я предпочитаю на велосипеде.

- На мотоцикле, - поправил *маленький принц*.

Почему он сказал про мотоцикл? Он знал про случившееся в Сухом ручье?

«Где-то я его видел», - подумал *царевич*.

- А нигде ты не мог меня видеть, кроме как во сне. Помнишь, однажды ты рассказывал мне, как ловят рыбу... пескарей... на удочку.

- Но я никогда не ловил пескарей! У нас в Лучкине и реки-то нет, а ручей совсем мелкий, зарос осокой.

- Однако ты рассказывал!

«А верно, однажды был такой сон», - вспомнил *царевич*.

- У тебя сигнальные системы пошли вразброд, - сообщил *маленький принц*, издали так похожий на головастика.

- А ты инопланетянин? О вас много говорят... но я не верил, что вы есть.

- Теперь веришь?

- Да ведь ты вот же...

Собеседник звонко, по-мальчишески засмеялся.

- Вы – небожители, - сказал царевич. – Так? А мы на земле.

- Нет, - сказал *маленький принц*. – Мы живём рядом с вами. Но и на небе тоже.

- Всё воедино, небо и земля, есть просто мир. Так?

Пока они так разговаривали, боль в повреждённой ноге позабылась, временами отступила куда-то и возвращалась.

Шелестящий музыкальный звук всё время исходил из открытой внутренности шара, а может быть, шелест издавала слегка мерцающая поверхность его. Снег не плавился вокруг и не приминался, но – топорщился.

- Как двигается эта штука? – спросил *царевич*.

- Я не знаю, - отвечал *маленький принц*.

- Разве не ты управляешь ею?

- Но совсем не обязательно знать, как устроено твое тело, чтобы научиться ходить, верно? Ведь и ты не знаешь, по какому принципу оно двигается.

- Почему же... я знаю.

Маленький принц засмеялся. Он вообще был смешлив.

- Не обижайся, - сказал он. – Вы мыслите в категориях забавной Вселенной. У вас даже так называемые учёные верят в то, что Земля – это лишь одна из планет солнечной системы, что она вращается вокруг солнца, и так далее.

- А по-твоему как?

- Земля – центр Вселенной... У нашей Земли твёрдое небо. Мы все в центре мира, и Земля тоже.

- Коперник был не прав, а Птолемей прав?

- Птолемей ближе к истинному, нежели Коперник. Суть в том, что над Землёй - сферы с закреплёнными на них звёздами. Движение сфер постигнуть вам не дано. Ваша цивилизация сошла с расчётной орбиты - это может погубить вас. Старшие тревожатся, потому что ваша катастрофа может погубить и нас.

- Глупости, - в свою очередь снисходительно сказал Ваня. – Про сферы, про твёрдое небо...

- Почему же, - возразил *маленький принц* весело. – Я могу представить доказательство.

- Какое?

- Отколю от неба кусок... подарю тебе

- Договорились. Только не забудь.

Однако же боль в ноге временами нарастала, повергая *царевича* в озноб. Но слишком велико было любопытство к пришельцу, и он продолжал завязавшийся разговор.

- Снегопад – это ваш и художества? Почему же вы не хотите помочь нам? Ведь вы почти боги.

- Дело богов – не заботиться о людях, а карать их – так говорил в древности ваш историк Тацит. А что до меня, то... как это славно сказано в одной из ваших сказок: я не волшебник, я только учусь. Для наших старших я – опытный экземпляр. Понимаешь? Старшие хотят преодолеть стену между нами, проводят научные изыскания, экспериментальные работы.

- Какую стену?

- Не напрягайся, всё равно не поймёшь. Они очень давно отстранились от вас и многое утратили. Например, не умеют смеяться - это их удручает. Теперь хотят обрести вновь, поэтому появился я.

Царевич неловко пошевелился и тотчас застонал.

- Что с тобой? – насторожился *маленький принц*.

- Не знаю, - сказал *царевич*, морщась от боли. – Должно быть, ногу сломал.

- Видишь, как я глуп! Не смог сразу понять... Ведь на твоём лице страдание, а я... Не говори никому, что я так глуп.

Царевичу видно было, и он даже почувствовал, как бледная и худая рука этого странного существа – человек ли он? – скользнула над боковым местом ноги.

- Да... перелом, - сокрушённо сказал *маленький принц*.

Секунду или две он размышлял, потом решил:

- Пойдём со мной.

- Куда? Я же не смогу встать.

- Нет проблем! – отвечал *маленький принц* столь весело, что ясно было: ему нравится говорить в такой манере.

Все это словечки, вроде «нет проблем», «не напрягайся» и прочие, он слышал ранее... может быть даже от него, от *царевича*.

5.

Прозрачный шар накатился на *царевича* и заключил его в себя. Тотчас поднялся, выламываясь из снега, в глаза ударил солнечный свет, открылся простор. Лыжи, воткнутые в снег, проплыли мимо. В отдалении маячил крест пилятицкой колокольни... а в другой стороне – вон он, горшок над родным домом! А больше никаких мет до самого горизонта.

Маленький принц улыбался своими дивными глазами, располагаясь каким-то образом совсем рядом. И не было вокруг, на оболочке прозрачного шара, ничего, что говорило бы о том, что они находятся в летательном аппарате, только ощущение удобства, домашней теплоты и движения.

Полёт длился очень недолго, да и не полёт это был вовсе, а этакое странное скольжение по поверхности снежной равнины. И вдруг зависли над круглой ямой, как над кратером вулкана.

- Бессмысленно чему-нибудь удивляться, - непроизвольно проговорил *царевич* для себя.

Они опустились рядом, и из всего происшедшего затем он запомнил только строгое, пугающее лицо человека... сияние панели под потолком какого-то помещения... и мелодичное брун-

жание, источник которого был неуловим... А еще запомнил, как сказал *маленькому принцу* в ответ на его вопрос:

- Положь туда, где взял.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1.

Он очнулся и смог осознать себя с прежним намерением: пробиться вниз по дереву, сквозь толщу снега. И это было уже второе русло его жизни, как бы параллельное тому, что с ним происходило только что.

На мгновение будто комариный звон заполнил уши – по-видимому, это был краткий миг полёта, а уже в следующее мгновение...

В следующее мгновение он плакал, сидя на зеленом мху под елью, утирая слёзы тонкими ручками... На нём было замусоленное платьице из домотканины, подпоясанное верёвочкой; из-под платьица выглядывали голые ножки в лыковых лапоточках; на голове повязан платочек, концы которого стянуты под подбородком. Ваня отнюдь не удивился тому, что в одно мгновение превратился в девочку. Им, обретшим новую оболочку, владели уже иные чувства – страх и отчаяние совсем по другой причине: вокруг был лес, и он (девочка) не знал... не знала, куда идти. Она заблудилась, и это случилось примерно полчаса тому назад. Теперь же она (он, Ваня!) совершенно измученная, сидела и плакала...

Рядом стояло берестяное лукошко, почти полное черники; поверх ягод лежали два белых гриба. Как она обрадовалась, когда нашла их! Именно они стали виновниками, почему она заблудилась. И теперь радость заглушалась страхом, потому и эти неутешные слёзы. Да и как было не плакать: ведь ей никогда не выбраться из этого страшного леса, в котором волки живут: нынешней весной они съели овцу о тётки Огафьи, а совсем недавно «Медведь задрал корову Миколаевых» – значит, и медведи тут бродят. Лесные звери съедят и её, девочку Фроську; она никогда теперь не увидит ни своей деревни Лучкино, ни родного дома, ни отца с матерью... Вспомнив о матери, Фроська заплакала ещё пуще. Ах, ей уж не дразнить братца Авдошку («Овдошка-Овдошка, голова с лукошко, нос – как картошка, глаза – как две площадки...»), не полоть грядок (эта ненавистная работа казалась теперь такой желанной!), и кукла, привезённая с ярмарки из Калязина, достанется, небось, рыжей болтушке Фенечке...

Слёзы совершенно обессилили её, поэтому и перестала плакать. А перестав, увидела вдруг неподалёку сидящие друг подле друга два белых гриба – шляпки румяные, словно пышки, только что из печи. Но Фроська даже не обрадовалась этим белым: на что ей теперь грибы, ведь она уже не вернётся домой! Но хотелось есть, а грибы так походили на пышки... Она встала, подошла, потрогала один из них – шляпка холодна, сыра. Фроська оглянулась – вокруг был тёплый летний лес? Тто ли парок, то ли туманец стоял меж шатрами елей, меж загорелыми стволами сосен и тонкими осинками с реденькой листвой. рядом оказался куст можжевельника с ещё неспелыми, зелеными ягодами: что-то знакомое было в это кусте. Подошла поближе – по зеленому мху тут и там кустился черничник, никем не тронутый, усыпанный ягодами. Она сощипнула несколько ягодок, положила в рот, озабоченно оглядываясь. И с каждой секундой светлело её лицо: не веря себе, уже узнавала эту полянку – с одной стороны шатровые ели, с другой под соснами – камень большой, выше её роста, похожий на стог сена. За камнем далее – низинка с папоротничками.

Словно подхваченная ветром, Фроська побежала к этому камню и мимо него – она уже знала теперь дорогу домой! На бегу увидела в траве ещё один белый гриб. Но такое ликование владело ею, что остановиться не могла, не до гриба ей было, промчалась мимо.

Она добежала до ручья, перебралась через него и, не чуя ног от радости, пустилась уже по тропинке – впереди виднелось солнечное пространство меж стволами сосен.

- Тя-тя! – закричала Фроська.

Выбежала из леса – вот оно, поле, и жаворонок над ним. Как раз под жаворонком поющим тётка Анисья с дочкой своей Аринкой и дядя Абросим жнут рожь, а на соседней полосе тятя кидает деревянными вилами-рогами снопы на воз, а на возу Авдошка... Они сразу подберут, если угостить их черникой, можно тятю попросить, чтоб посадил её на воз, к Авдошке, и они с братцем поедут-поплывут к деревне. Она похвастается и белыми...

Подумав так, она вдруг остановилась, пронзённая мыслью: вед, забыла, забыла лукошко! Мгновенно улетучилась радость, словно и не бывало её. Она потеряла-таки лукошко. Новенькое, крепкое, сплетенное из тонких еловых корешков. Тятя дал его, предупредив: «Гляди, если потеряешь, вот те Христос, выпорю». Потеряла... Её наверняка выпорют... и матушка не заступится. А братец будет смеяться над нею.

Девочка (это он же, Ваня) заплакала и побежала назад – к ручью, через ручей... Она оглядывалась на бегу, и опять под сердце подступал страх: ох, не заблудиться бы!

И – заблудилась.

Где тот камень, похожий на стожок сена? Где низинка с папоротниками?

Сам Бог заботился в это день о Фроське: она нашла лукошко. Нашла, но в тот момент, когда подхватила его, послышалось «тиндиликанье», сменившееся тонким, как бы комариным звоном...

2.

Сухой игольник был под ногами, ветерок тёплый веял... дятел стучал неподалёку... Ваня стоял, глядя изумлённо: да, перед ним был тёплый летний лес... именно лето, пожалуй, так конец июля или начало августа.

Зеленоватые пичужки с хлопотливым писком суетились в еловой хвое. Зяблик пел неустанно, ему откликался из чащи другой; дятел стучал деловито, и солнце – да, солнце! – жарко светило. Муравейник высотой с человеческий рост весь покрыт был хлопчущими муравьями; на боках его выросла стайка сыроежек и среди них большая, с ярко-красной шляпкой, и тут же рядом, ярко-красные ягодки земляники вызрели среди редких зеленых листочков её.

Ваня посмотрел вверх; шапка осталась где-то там, на ели, и из зимней куртки его буквально вытряхнуло, пока проваливался между сучьями. Остался в одном свитере, да ведь т в нём жарко! Пришлось снять: оглянулся – куда б спрятать? Самое лучшее – в можжевельниковый куст, он плотен, что внутри – не разглядишь. Спрятал, отошёл в сторону, посмотрел: нет, не видно ухоронки.

Опять огляделся: место это было ему знакомо – вот камень большой, похожий на стол сена, вот поваленная сосна, вот молодой ельник за нею. Слышно, как за ельником пошумливает ручей, откуда он течет и куда, неизвестно, но вода в нём чиста.

Ваня спустился в низинку, напился из ручья. По тропе вышел на опушку – открылось залитое солнцем поле со спелой рожью, за полем видны крыши домов, и над всем этим знойное небо с редкими облаками. Вот здесь должен быть склад горючего – кирпичное строение, исписанное черными похабными словами, и рядом три цистерны под открытым небом...

3.

Но ничего этого не было, а было просто поле, на котором работали жнецы: женщина в цветастом сарафане, схваченном пояском под самой грудью, в платке, низко надвинутом на глаза;

девчонка Ваниного возраста, то есть почти девушка, одетая тоже в сарафан; в отдалении ещё несколько женщин, а совсем рядом мужик в рубахе распояской, с кудрявой рыжей бородой.

Мужик выпрямился, поднимая на серпе большую горсть сжатой ржи – чуть не половина снопа! – положил её и увидел остановившегося Ваню.

- Здорово, свояк! – весело сказал он и тотчас спохватился.
– Ой, нет, ошибся я... прости, барин.

Ваня смутился немного: это был тот самый Абросим, что вышиб его из бани. Ну да, он – рослый, жиливатый, с кудрявой рыжей бородой.

- Сначала-то поблазнилось... Похож ты на свояка моего, что в Боляринове живёт, он у меня молоденок, - дружелюбно улыбаясь, говорил Абросим. – Ан нет, гляжу...

Он забрал подол рубахи грубой, из домотканины, но уже пообмявшейся, ношеной, вытер потное лицо.

- А ведь это ты тогда в баню-то к нам... прошлой-то зимой! – сказал он, быстро и цепко глянув на Ваню. – Ну да, я тебя узнал: ишь, меченый.

Как это «прошлой зимой», когда совсем недавно!

- Я нечаянно, - пробормотал Ваня.

- А за нечаянно лупят отчаянно, - засмеялся Абросим., закручивая поясок очередного снопа.

Косой ворот его рубахи был расстегнут, рукав с прорехой на локте; на коленке домотканых порток пристебана грубо заплатата.

- Ладно, чего там, дело прошлое. Я-то шутейно тебя пугал, можно сказать, любя. А вон моя баба рассердилась не на шутку.

«Хороши шутки, нечего сказать – такого пинка дать!» - подумал Ваня Сорокоумов, а вслух вежливо сказал:

- Больше не буду... Простите великодушно.

Жена Абросима и дочка, не прерывая работы, оглядывались на Ваню – они тоже узнали его.

- Чего стоишь без дела! Вон серп, бери и становись на полосу.

Абросим сказал это шутки ради.

Серп был воткнут в сноп ржи, что стоял в суслоне возле дороги. Повинуясь внутреннему побуждению, Ваня взял серп и занял место с краю, где дорога шла опушкой лесной.

Нагнулся, забрал в горсть левой руки стоявшую рожь, а правой сделал привычный взмах серпом – привычный, словно не раз уже в прошлом приходилось ему быть жнецом. Полную горсть эту он приподнял на серпе, отделяя от стоявшей еще не сжатой ржи и положил, и опять нагнулся, и опять под левую руку серпом...

4.

Не шибко-то густой была рожь Абросима: и тимофеевка в ней, и колючий осот, и овсяница с овсюгом. Через некоторое время уже загорелась огнём левая ладонь – нажгло её колючей травой да жесткой ржаной соломой. Солнце припекло затылок и плечи.

- Эй, Обросим! – крикнули с соседней полосы. – Кто это у тебя в работниках? Или в зятя кого-то приваживаешь?

- А пускай зятится, авось в хозяйстве сгодится, - отвечал Абросим.

Ваня глянул в сторону Абросимовой дочки, она тотчас отвернулась.

- Нет, Обросим, твою Оринку мы себе в снохи приглядели, - кричал подавальщик снопов на соседней полосе. – А этому барину Оксютку Лыкову сосватаем.

Засмеялись и Анисья с Аринкой, и паренёк на возу. Небось, дурочка местная та Аксютка.

- Э-э, парень, а поясок-то вязать не умеешь, - весело сказал Абросим, причём слово «парень» выговаривалось им похоже на «барин». – Ладно, давай я.

Ловко и быстро, одним движением перепоясал сноп, прислонил к суслону.

- Чей будешь-то? – совсем уж дружелюбно спросил он. – Вижу, не здешний.

- Тутошний, - ответил Ваня, поддельваясь под его говор.

- Что-то не видел я тебя ранее. Разве что в бане, а? Не отца ли Вассиана сынок?

Ваня отрицательно помотал головой.

- У него сын, говорили, учится в Питере, в семинарии: способный, вишь, парень. Отец Вассиан больно гордится сынком-то. Вот я и подумал.

Анисья с Аринкой прислушивались к их разговору, не прерывая работы.

- Где ж ему в семинарию! – сказала Анисья, весело глядя на Ваню. – С его ликом только чёрту служить, а не Богу.

Обе они, Анисья с Аринкой, засмеялись, но Абросим – нет, только посмотрел сочувственно.

- Ты на нас не серчай, - сказал он, забоявшись, что Ваня обидится. – Мы люди простые...

- ...едим пряники неписанные, - добавил Ваня, отнюдь не сердясь.

Вот теперь и Абросим засмеялся.

С соседней полосы донёсся тележный скрип: воз снопов плыл к дороге. А приблизился – стало видно, что он однок, и

возчик уже стоит на коленях с самого краю, стараясь уравновесить его своим телом.

- Ох, не доедешь, Овдоким! – крикнул Абросим тому, кто был на возу. – Не довезёшь!

- Доеду, - неуверенно отвечал ему тот.

- Чего ж такой воз наклал, кулёма! Кто тебя учил – мало жучил.

- Да наклал-то хорошо, ан колесо угодило в ямину, вот и перекачнулся воз, - оправдывался возчик, веснушчатый, с испуганно-весёлым лицом; волосы у него на голове – стожком соломенным, как у куклы.

- Не доедешь, Овдошка! – крикнул ему со своей полосы отец. - Давай перекладём, а не то, не приведи Бог, в ручей свалишь, пропадёт добро!

Ваня забежал вперед лошади, взял её под уздцы, направил правое колесо телеги в колдобину.

- Качнём! – крикнул он Авдошке.

А тот уже сообразил.

- Давай!

Лошадка насмешливо фыркнула Ване в лицо; воз качнулся, возчик присел в лад ему, и – выправился воз!

- О-го! Теперь я на оба плеча хорош! – закричал Авдошка сверху. – Теперь до овина, как на перине!

- Плохо тебя, дурака, учили, - сказал ему Ваня по-свойски. – Кто ж так воза кладёт!

- Дак учили-то хорошо, ан не в коня корм, - отозвался Авдошка. – А кто это тебе приложил так? Кобылка бела, копыто черно - так, да? Али не знашь: не подходи к кобыле с заду, а к корове с переду?

- То не копыто, то знак судьбы, - сказал ему Ваня.

- Судьба ты моя, судьбина, - это Авдошка сказал насмешливо, - выдь ты ко мне, погляди на меня: кого обижаешь?

Нет, он не так прост, этот Авдошка. Слова держал не в кармане, они у него все на языке.

- Эй, меченый! – крикнул он, уже удаляясь с возом. – Приходи сегодня на мостовину! Как стемнеет...

- Куда это?

- Не знашь, где мост через Вырок? На дороге из нашего Лучкина в Пилятицы. Мы там гуляем, и из других деревень тоже приходят! У нас весело! Приходи, мы тебе салазки загнём!

5.

Они сидели на меже – Абросим с Ваней и Аринка с матерью чуть в стороне. Было жарко, но перейти к лесу и сесть в тенёчек жнецы не захотели: нечего рассиживаться, вот сейчас

маленько отдохнут да и за работу. Только что напились все: пятiletний сынишка Абросима принес жбанчик квасу – квас кислый-кислый, потому казался холоднее, чем был, а в такой-то жаркий день куда как кстати.

Надо было видеть этот жбанчик с отколотой ручкой – нелепо пузатый, со вдавленными отпечатками пальцев мастера-горшечника, оставшимися после обжига.

- Самоделка, - снисходительно объяснил Абросим, заметив Ванин интерес. – Я его сам и сляпал, и обжег в печи. Авось послужит до осени. Первый блин комом. Потом наловчусь.

- Свату Михайле два кашника сделал, так те куда как хороши! – похваливала мужа Анисья.

- Сравнила! То кашник, а то жбан – тут посложнее. Ну ничего, - опять сказал он, словно бы ожесточаясь. – Я это ремесло постигну, оно от моих рук не отобьется.

Все вокруг было до умопомрачения ясно и убедительно. То есть настолько ясно, что и сорока умов не надо, чтоб понять: жизнь эта реальна, отнюдь не призрачна. Взгляд Ванин скользил: вот грубое полотно рубахи и прореха на локте мужика... вон облачко пухлое на небе... а это колоски ржи, повисшие на золотых стеблях... руку протянешь – можешь потрогать василек на меже, синий-синий... Ваня сорвал этот василек, единственно чтоб ощутить его – стебелек в пальцах был тверд, и явственен нежный запах цветка. Все настоящее! Всё-всё... Аринка смущалась, когда он поглядывал на неё, наверно, за этот случай в бане, но уже стала посмелей.

В душе Вани поднимался непонятный восторг – хотелось вскинуть руки, взвиться в небо и вострепетать песней, вот как этот жавороночек, что поет-заливается. Ведь надо же: ласковое лето вокруг – жара, жаворонок поет, ветер веет.

Аброси потер в пальцах рукав его рубахи:

- Ишь, лопотинка-то не нашенска. И пуговики... Заморское, что ль?

- Московское... Может, и из-за моря привезли.

- То-то, я гляжу. Ишь ты...

Аринка что-то шептала матери, обе улыбались.

- Как нынче с урожаем-то в вашей стороне? – спрашивал Абросим.

- Похуже этого. – Ваня оглядывал поле: рожь тут стояла, что называется, стеной.

- Нам Бог дал по трудам нашим... - произнес Абросим удовлетворенно. – Не пожалуюсь: по трудам нынче хлебушко. Вы-то на барщине али как?

- Были и на барщине, - уклончиво сказал Ваня. – Теперь иначе.

- А-а... А мы три дня на господском поле, четыре на своем. Ничего, жить можно. Раньше иначе было, да царь-батюшка указ издал: не мучить мужика барщиной сверх меры. А мера – три дня.

И Ваня видел на той возвышенности, что называлась Селиверстовым холмом, крышу не мужицкого, а барского строения – она выглядывала в купах деревьев.

- Порет, небось, вас на конюшне? – поинтересовался Ваня.

- Как везде, - отвечал Абросим. – Не воруй, не пьянствуй, чти отца с матерью и святую церковь, так и пороть не будут.

- У нас барин добрый, - сказала Анисья. – Только что книгочей... полорот маленько, расплетена варежка... Книги-то хоть кого до добра не доведут.

- Ладно, не болтай лишнего, - строговато остановил жену Абросим. – То не нашего ума дело. Каждому своя планида на этом свете: тому землю пахать, а этому книги составлять.

- А что ж на поле у барина – тоже хлеб убираете? – спросил Ваня. – В чем состоит работа на барщине?

- Баба моя жнет, а я плотничаю: строим в Пилятицах церковь, - Абросим перекрестился. – Она, слышь, каменна, а я по этому делу не мастер, но и мне работа есть, ничего. Конечно, теперь жнитво, день год кормит, да барин строг, спешит – к зиме хочет закончить, к Введенью Пресвятой Богородицы. Обет, вишь, такой дал.

Что-то не узнавал Ваня Пилятиц: деревья, что ли, росли не так? И дома стояли не так, да и крыши соломенные. Не было кирпичных складов на окраине, столбов электропередачи...

- К Ильину дню надо бы управиться с рожью, - продолжал Абросим, щурясь на солнце. – А то ведь того и гляди лен зажелтеет. Да и жито нынче против прошлогоднего рано заколосилось...

6.

Из ясной небесной голубизны прямо перед ним на межу полилась вдруг тонкая струйка воды. Как из чайника. Абросим встал, растерянно следя: струйка падала на сухую землю, разбрызгиваясь по сторонам. Она возникала на высоте птичьего полета, то есть где-то там становился заметен ее серебристый, движущийся отблеск, и оттуда она отвесно, стремительно падала. Это явление было умопомрачительно нелепым, необъяснимым, а потому и жутким, несмотря на солнечный день; оно повергало в оторопь.

- Свят-свят, - проговорил Абросим и перекрестился по-мужски размашисто.

Жена его Анисья с дочкой Аринкой тоже встали и, тоже ничего не понимая, смотрели вверх, прослеживая серебристую, словно играющую струйку.

- Не к добру это, Обросим, - сказала встревоженно Анисья.

И Ваня смотрел, недоумевая: на небе ни облачка – чисто до самого горизонта; деревья тут ни при чем – они на некотором расстоянии от падающей водицы; ничего вверху нет – и вдруг эта струйка... откуда? с чего?

- Не к добру, - повторила Анисья.

- Знамение нам, - вымолвил Абросим.

Грязный ручеек уже полз по меже неуверенно, будто недоумевая. Над лужицей иногда вспухал вдруг большой пузырь и отражал голубое небо, опушку леса, край ржаного поля и лица стоявших вокруг.

- Конденсат, - предположил Ваня, глядя вверх.

- Чего? – не понял Абросим.

- Все мои сорок умов не в состоянии понять, - пробормотал Ваня. – Если конденсат, то почему струйкой, а не дождичком?

Опять прослеживали каждый сверху вниз, снизу вверх этот нелепый небесный водопад: суцкая пустяковина, которой однако невозможно было найти разумной причины и объяснения.

Кто-то опять их дурачил, но невозможно понять, кто.

- А возле лавы на Пьяном лугу вчера молния воткнулась, - шёпотом сказала Аринка. – Так и торчит до сих пор.

Абросим и его семья живо обсуждали это, уже отдаляясь от Вани.

А уж похолодало вдруг, и там, куда падала с неба струйка воды, образовывалась наледь. Небо заволкло тучами. Уж снежные одуванчики закружились в воздухе... Абросим и его семейство, будто относимые на льдине от берега, отплывали...

- Да погодите! – спохватившись, вскричал Ваня. – Как же так? Вы вообще-то в каком веке живете?

- Мы, вроде бы, в восемнадцатом, - отвечал Абросим.

- А чего же говоришь «Питер», тогда как надо «Санкт-Петербург»? Питером его стали звать в нашем, двадцатом.

- Да вот сбиваюсь иногда, ангидрид твою в гидролиз! – ругнулся рукастый мужик Абросим.

И уж ни поля, ни неба над ним, ни жнецов, ни леса с птичьей жизнью – рыхлый снег кругом, и вверху тоже, а рядом, совсем рядом, мелодично журчал ручей – это Вырок.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1.

Ваня выбрался в подснежный ход, не людьми прорытый, а вытаянный ручьем.

Вырок тек себе в собственном русле, ему не было дела до снега. Он был покрыт льдом, который на стремнине истончался и имел промоины, а у берегов был довольно крепок.

Сумеречный свет сеялся сверху. В этом свете можно было рассмотреть, что над Вырком как бы от дыхания воды вытаял тоннель с обледенелыми сводами, повторявший его повороты и вверх, и вниз по течению. В нем можно было передвигаться, лишь в некоторых местах пригибая голову, а в которую сторону идти, чтоб вернуться домой, об этом можно было определить по стремлению воды

Ледок потрескивал у него под ногами, но держал. Местами, а именно там, где вода проточила ледяную корку, инеем были густо покрыты своды тоннеля. Иней осыпался и на лёд, на нём едва заметно отпечатались следы звериных лап, однако то, что тут могут быть волки, как-то не пришло Ване в голову. Он думал о том лишь, что если идёт верно, то скоро должна попасться ему череда прудов – это уже на околице Лучкина.

И верно, подснежный ход раздвинулся, превратившись как бы в комнату с довольно высокими сводами – это был первый прудик. Ту можно распрямиться. За ним последовал второй. Ваня выбрался в следующий и увидел мосточки, вмерзшие в лёд, - с них обычно мать полощет бельё...

Здесь, выбираясь на берег, он поскользнулся, и больно ударился коленом об лёд. Морщась, закатал штанину, потёр ушибленное место и увидел вод коленом как бы ленту, опоясывающую голень, - просто кожа его припухла таким пояском и покраснела. Поясок этот озадачил его, но Ваня тотчас вспомнил: именно на этом месте совсем недавно был перелом... Был и – нету!

Он очень живо вспомнил, как лежал на продолговатом белом возвышении, и двое в голубовато-зеленых комбинезонах склонились над его ногой, что-то делали с нею, не обращая внимания на то, что он сморит на них.

Вот после того назвавший себя *маленьким принцем* спросил:

- Куда теперь?

А Ваня ему строго:

- Положь, где взял.

И нога уже не болела. А вот теперь только красная полоска вспухшей кожи опоясывала ногу под коленом, и кожа в этом месте была как бы онемелой, бесчувственной.

Сорокоумовы, мать с сыном, сидели за столом, завтракали... или это был обед... ужин... Маруся поглядывала на Ваню, словно не решаясь сказать.

- Что-нибудь случилось, его я не знаю? – спросил он, поймав её взгляд.

- Случилось... Ольга затеяла торить подснежный ход в Плятицы.

- Зачем? Ты ей сказала, что я там был? Ни магазин не работает, ни до города не дозвониться. Да и вообще тамошним не до нас. В политику ударились – или о суверенитете хлопочут, или мировую революцию замышляют - их теперь не унять. И городу не до нас.

- Ей в церковь занетерпелось.

- В церковь? Там не служат с тридцатого года. А нынче нагребленное добро хранят.

- Ей не объяснишь. У неё своё понятие.

- Или у неё в доме икон мало?

- Она говорит: Божий храм – место намоленное, там молитва Богу слышней. Сказала: это будет мой подвиг – спасти плятицкую церковь. А при церкви спасутся все.

Оказывается, льга вовлекла в этот подвиг и старух: Анну Плетнёву да Махоню. Общими усилиями пробивают ход в снегах.

- Я боюсь, Вань: вдруг потеряются! Ходила им помогать... уговаривала.

- Далеко ушли?

- На поле выбрались.

Сказавши это, Маруся замолчала. Он больше ни о чём е1 не спрашивал. А закончив с едой, поднялся, стал одеваться.

- Куда, Вань?

- Пойдём старух выручать. Засыплет их снегом. Мы за них в ответе.

3.

Подснежный ход, проторённый горбуньей, начинался от крыльца её дома и вдоль изгороди огородной уходил вниз к Вырку. Здесь Маруся с Ваней остановились, послушали ровное, голубиное воркование ручья и отправились дальше: ход проторен был в сторону, по берегу. Здесь богомолки нашли мосточек, после чего стали взбираться на взгорье.

Ход получался кривой, торивших вводило почему-то вправо, к Селиверстову холму; спохватившись, они стали забирать левее, а потом, будто их что-то подталкивало, опять вправо.

- Ну, заблудились, - сказала Маруся озабоченно. – Этак им назад не вернуться.

Вдруг где-то невдалеке птица запела, и не какая-нибудь, а иволга – та самая, что летом живет в кустах у ручья. Она и запела как раз в той стороне, где Вырок. Маруся и Ваня послушали ее, переглядываясь, и приободрясь, отправились дальше.

Временами им чудился впереди шорох снега, потому казалось, что богомолки, как мышки-норушки, роют где-то недалеко, может быть, даже совсем рядом; пошли дальше, как две лисы на охоте. Под снегами тут и там пробивалась сквозь снег зеленая травка – озимь, а на снегу кое-где отпечатались чьи-то лапы. Может быть, кошка увязалась за Махоней? Та с кошкой неразлучна, по крайней мере дома. Но ранее, у Вырка, кошачьих следов не было.

Так Сорокоумовы добрались до той канавы, что разделяла некогда земли двух соседних колхозов, пилятицкого и лучкинского. Здесь, на границе, богомолки устроили часовенку; на пути им попала елка, одиноко росшая на канаве; они сплели из хвойных лап что-то вроде киота, поставили на него икону Богородицы, и перед нею на ветке повесили самодельную лампаду – огонек этой лампы Ваня и Маруся заметили на расстоянии и обрадовались: значит, те, кого они искали, где-то рядом.

Но перед иконой сидела только рыжая лиса, которая при их приближении проворно нырнула под ель, слышно было, как она там шуршала в жухлой траве.

Сорокоумовы нерешительно приблизились и остановились. Вокруг было тихо... но не мертвая тишина стояла, а напротив, одушевленная чьим-то присутствием. Богоматерь на иконе показалась Ване чрезвычайно красивой девушкой, круглолицей, с удивительно кротким выражением лица и синими-синими глазами.

«Разве можно изображать ее такой? – дивился Ваня, ничуть не сомневаясь в том, кто именно изображен на иконе. – Ведь тут она просто девушка... очень красивая. НЕ икона, а портрет красавицы... живущей где-то рядом с нами».

И Маруся видела, что в Богоматери нет ничего иконописного: ни теней страдания под глазами, ни скорбных складок на лбу или у рта. Это лицо дышало жизнью в каждой своей черточке, и только в глазах был источник той божественной силы, которая делала эту женщину с ребенком истинно Богоматерью.

Ваня же не видел младенца, он смотрел на икону, каждое мгновение ожидая, что эта девушка вот-вот скажет ему что-то или улыбнется. И Маруся ждала того же, уверенная, что вот-вот и младенец подаст голосок.

Кроткие глаза смотрели на них с иконы ласково, и этого, собственно, было достаточно Ване, чтобы почувствовать полное расположение и доверие к синеглазой девушке, отмеченной судьбой или высшей волей. «Она еще не стала Богоматерью, -

думал он. – Она еще земная, и не знает того, что уготовано ей». А Маруся видела, что недоброе предчувствие уже владеет молодой матерью, она постоянно носит его в себе, потому на лице отражена роковая печать. Марусе до сердечной боли было жалко эту юную женщину, ничем не заслужившую тех страданий, что выпали на ее долю.

«Твоего сына потом казнили, - словно говорила Маруся, не в силах оторвать взгляда от живого, улыбающегося личика младенца. – Как ты пережила это? Когда мой Ваня упал с мотоциклом в ручей, я сходила с ума...»

Маруся ясно ощутила, что эта молодая синеглазая женщина знает ее, Марусину жизнь, и готова сочувствовать ей и утешать. И самой Марусе на минуту стала понятна и постижима собственная жизнь, вдруг открывшаяся перед нею, как долгая дорога среди полей и лугов под ясным небом и при ветреном ненастье.

Так и стояли Сорокоумовы, мать с сыном, перед иконой Богоматери.

Не только Марусе, но и Ване показалось в эту минуту, что женщина на иконе печально и ободряюще улыбается им, обещая свое покровительство, а значит, и защиту от злых сил.

4.

Горбунья Ольга, словно не замечая Вани и Маруси, подошла, перекрестилась и задула лампадку.

- Зачем ты, Оля! – невольно воскликнула Маруся.

А та перекрестилась еще раз и бережно взяла икону.

- Оставь здесь, никто же не возьмет! А ведь как она славно тут стоит!

Горбунья, не отвечая, приложилась к образу лбом, потом поцеловала; лик иконы был уже темным, тусклым, на нем едва проступали очертания женской головы и младенца с непропорционально маленькой головкой, закутанного неведомо во что.

- Пойдемте со мной, - сказала Ольга строго и обернула икону шалью. – Пойдемте.

Сказано было так, что и Маруся с Ваней послушно отправились за нею.

Ветерок подгонял их в спины. Минута ходьбы, и они остановились перед снежными ступенями, ведущими вверх... Там теплился огонек лампадки, освещающая лик надвратной иконы. Икона посверкивала кристалликами изморози, изображение на ней было подобно тому, как если бы кто-то смотрел сквозь морозные узоры стекла.

- Осени себя крестом, безбожник, - сердито прошептала горбунья и дернула заглядевшегося Ваню за рукав.

Тот послушно исполнил ее повеление и так же послушно поднялся за нею к ледяным дверям. Колокольный звон, раздавшийся сверху, стал глуше и торжественней, из приоткрытых дверей принесло тот особенный церковный запах, который всегда отпугивал Ваню, если ему раньше случалось заходить в церковь. Послышалось где-то в глубине сладкоголосое пение...

Они очутились в храме со снежными стенами, высокими снежными сводами; заиндевелые, в сверкающих искрах колонны подпирали те своды. Здесь было рассветно, как перед восходом солнца. Перед обширным иконостасом, уходившим ввысь, горели редкие белые свечи, огоньки их колебались от движения воздуха. Женские голоса доносились с высоких хор, где заметно было перемещение неясных белых фигур..

А здесь, внизу, Ваня увидел бабушку Махоню, та как раз зажгла свечку и поставила её в большой светильник, в котором было множество горящих свечей. Плетнёва Анна стояла в отдалении перед иконой, с которой глядели огромные глаза, стояла неподвижно, как изваяние. И вроде бы присутствовали в церкви ещё люди – поскольку там и тут раздавались шарканье ног и шепоты. А к Анне подошли несколько мужчин и встали рядом с нею, по-семейному.

5.

Высокие двери алтаря бесшумно открылись, и вышел светловолосый юноша в священническом облачении. Приблизившись, он осенил молящихся и только что пришедших широким крестом, говоря:

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...

Этот юноша был похож на...

«Кто это?, - спросил себя изумлённый Ваня Сорокоумов и ответил, веря и не веря. – Овсяник?.. Возможно ли такое?»

Да, батюшка показался ему похожим на Овсяника, только этот был уже с длинными волосами, падавшими на плечи, и лицо чистое, без багрового пятна возле уха. Но кисть руки показала Ване скрюченной – «Медведь погрыз» – и то, что смотрел на него странно, словно узнавая. Но нет, просто показалось.

«Возможно ли, чтобы Овсяник стал священником? Нет, невозможно. Тогда почему же?... Но, может быть, это его брат... или сын? Время сместилось...»

Торжественный хорал, набирая силу, заполнил всё огромное пространство церкви и всецело овладел им. Ваня забыл, где он находится, и как сюда попал, а когда очнулся – Ольга и священник стояли чуть в стороне и разговаривали о чём-то очень тихо. Горбунья передала ему принесённую икону, он при-

нял её, перекрестился, приложился лбом и губами, поставил в нишу центральной колонны и поклонился, отступая.

Маруся тоже смотрела на них, ей неудержимо захотелось опять взглянуть на икону – не проглянет ли там синеглазая женщина с младенцем. Она с нетерпением ждала, когда Ольга и священник уйдут, чтобы побыть с Божьей Матерью наедине, и как только они отошли, Маруся поспешила туда.

Богородица была та же, что явилась ей там, в поле, и встретила её тем же кротким всепонимающим взглядом. Робея, Маруся взяла лежавшую тут свечку, зажгла её от соседней и поставила в подсвечник; теперь лица на иконе и вовсе ожили, огонёк свечи отражался в глазах юной матери и младенца.

Никогда Маруся так жарко не молилась. Да и вряд ли это можно было назвать молитвой: повинуюсь сердечному велению, Маруся шептала, говорила о себе самой, о Ване и своей постоянной тревоге о нём – она поймёт, поймёт! – о муже, ушедшем с этого света столь рано... и про этот снег, который так безжалостно придавил всех живущих здесь. Никогда она не чувствовала себя столь воодушевлённой – словно спали с души оковы, словно солнца луч проник к сердцу, осветил и согрел, и её, Марусина, жизнь обрела вдруг смысл и значение в этой мольбе.

Опять показалось, что юная мать на иконе улыбнулась ей, ободряя и обещая защиту для сына Вани на этом свете, для мужа Игоря Макарыча на свете том и для деревни Лучкино, равно как и прочих, плененных и угнетенных снегами. Маруся смахнула благодарные слёзы и, чувствуя великое облегчение, сказала себе самой:

- Что это я... никак плачу?

И добавила неведомо почему:

- Прости меня... прости.

6.

- Херувимы, - сказала Махоня, становясь возле Сорокоумовых. – Слышите, как хорошо поют?

Она была оживлена, даже радостна, словно не в церковь пришла, а в гости приглашена праздновать чьё-то семейное торжество.

- Нет, там женщины... хор, - неуверенно возразил ей Ваня, вглядываясь вверх и видя поющих, одетых в белые одежды.

- Херувимы, - решительно заявила Махоня.

- Но ведь они только... в раю, - неуверенно сказала Маруся.

- А ты знаешь, где он, рай? Может, как раз здесь.

Против этого Сорокоумовы возражать не стали.

- Как хорошо, что я этих с собой привела, - Махоня пере-крестилась. – Батюшка сказал: коли всё сотворено Господом, то и они творенья Божьи.

Ваня с Марусей оглянулись, и на лицах их отразилось крайнее изумление: за белой колонной перед низко поставленной иконой дружной стай кой стояли «свои люди». Их оказа-лось не менее двух десятков, а выстроились они чинно: старшие впереди, младшие за ними; двое старичков стояли на коленях, остальные забавно крестились, кланялись... Толстый, похожий на копёшку сена или соломы Иван Иваныч стоял у стены на осо-бицу и тоже неловко крестился.

- Я у отца Анаксимандра попросила за них. Он их благо-словил и малую иконку пониже поставил, чтоб им удобней было.

- У какого отца Анаксимандра? – спросил Ваня, хотя дога-дался, о ком речь.

- Да у священника, вон он! Обещал окрестить их после службы. Крещение будет честь честью, в купели – все как пола-гается... Что ж, не чужие – свои люди... А нынче праздник большой.

Один из «своих людей» бойким голоском пропищал:

- Нынче Введенье во храм Пресвятой Богородицы.

- Это Филя, - подсказала Махоня. – Уж такой грамотный! Всё знает.

Отец Анаксимандр между тем читал, стоя перед аналоем:

- Научи нас творить молитву твою, потому что ты – Бог наш, а мы – лиди твои, твоя собственность, твоё достояние...

«Это он и обо мне тоже? – подумал Ваня. – И я достояние? Но ведь я некрещёный! Я ещё дикий человек, вроде Махоновых лилипутов...».

- Не вздеваем рук наших к богу чужому, не следуем ни за каким лже-пророком, не исповедуем еретического учения, но к тебе воздеваем наши руки, молимся тебе. Отпусти грехи наши... и на страшном твоём суде не отлучи нас от десного стояния, удостой того благословения, которое получают праведники! И пока стоит мир, не посылай на нас напастей искушения...

- Не посылай на нас напастей, - повторила за ним Маруся шепотом.

Сын спросил у неё, сомневаясь, можно ли ему креститься на иконы, если не крещён.

- То моя вина, - сказала Маруся и тотчас направилась к священнику. – Попрошу... может быть, он сегодня же окрестит тебя.

- В каждом из нас частица Духа Святаго, - сказал отец Анаксимандр, выслушав её, и при этом оглядывался на Ваню.

Нет, это был не Овсяник. Но почему, почему так похож!?

- Постройте прежде всего храм в душе своей и молитесь, - говорил священник. – И да будет услышана ваша молитва!.. Потом отрок придёт ко мне, я окрещу.

И во всё время дальнейшей службы о. Анаксимандр то и дело то ли с интересом, то ли озабоченно оглядывался на нового прихожанина, словно не желая выпустить его из поля своего зрения да и из поля своего влияния. Вообще Ване Сорокумову казалось, что всё это храмовое действие обращено к нему, впервые оказавшемуся в церкви, впервые слушавшего проповедь:

- Не возносите в гордыне и не тщитесь постигнуть мудрость Божью... Что нам делать ныне? Не утвердиться ли на единении и не постоять ли за чистую и непорочную веру Христову, за святую церковь Богородицы и за многоцелебные мощи наших чудотворцев... Главное помните: не предавайтесь унынию или отчаянию – это великий грех. И не забывайте молиться...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1.

Над папертью храма сквозь снеговую толщу светило солнце. Ваня спустился по белым ступеням её и сел на деревянную скамеечку, словно для него тут вытаявшую, – раньше не было её! – та скамья оказалась теплая, под нею из-под снега выбивались кустики зелёной травки, и одуванчики цвели.

Ваня сидел, дивился: вот ступени вверх, вот ледяные в изморози двери... всё въяве. Не было возможности окинуть взглядом эту церковь, чтобы видеть внешний облик её – или у неё только облик внутренний? В этом заключался какой-то скрытый смысл, но понять его не было у Вани сил.

Маруся тоже вышла и села рядом с сыном на эту скамью; она так полна была только что пережитым, что тоже обессилела.

Из открытых дверей снежного храма по-прежнему доносилось тихое пение, ласкавшее не столько слух, сколько сердце.

И вот то, что произошло потом, каким-то странным образом расслоилось... распалось. При единстве времени и места происходил нечто, воспринимавшееся каждым по-своему, - это как если бы с разных сторон смотрели на один предмет, а видели один, скажем, рыбу, а другой лошадь, третий – просто дерево под ветром.

2.

Горбунья Ольга вышла на паперть, когда ни Маруси, ни Вани тут не было: уже ушли. Ольга услышала отдалённый шум, который постепенно нарастал, становился дробным – было похоже, что мчался табун лошадей, причём очень большой.

Махоня и Анна, вышедшие к ней, тоже слышали этот конский топот, который был уже близко. Он накатывался лавиной, как накатывается на берег вал воды.

Из снега словно выломился прямо перед ними всадник; на лошадке маленькой, косматой, он сидел, вцепившись, как клещ, сгорбившись, и так был залеплен снегом, что и не разглядишь, человек ли это. Старухи и горбунья отшатнулись к дверям, а он осадил лошадь как раз возле паперти, ощерил рот – лицо мокрое, глаза узкие, раскосые, малахай нахлобучен на брови – пролопотал быстро, как в бреду:

- Ля илаха илля Аллах... Мухаммад расуль Аллах!

После чего хлестнул гривастую мохноногую лошадку и опять воткнулся в снег.

Стоявшие на паперти перекрестились, говоря одна за другой: «Нечистая сила», и вошли в церковь, притворили за собой дверь.

Конский топот морским прибоем ударил в стены храма, сверху посыпался снег, сильный ветер подул откуда-то, погасил свечи перед иконами...

3.

А Маруся с Ваней миновали ту ель, что росла на канаве и служила недавно киотом для Ольги, когда до них донёлся отдалённый шум. Они остановились, прислушиваясь: шум нарастал, приближался. Явственно различили они в стороне напористый рокот, становившийся всё ближе и ближе.

- Трактор, что ли? – озабоченно предположил Ваня. – Они ж слепые, этак наедут на деревню, задавят кого-нибудь.. или нас.

А Маруся явственно слышала не рокот мотора, а рычание неимоверно большого зверя. Белая кутерьма заклубилась впереди, сминая обрушивая подснежный ход, проторённый Ольгой столь старательно, и надвинулась на них.

- Стойте! – закричала Маруся и кинулась вперёд, подняв руку, как боярыня Морозова на картине Сурикова, то ли грозя, то ли проклиная, то ли считая, что так она остановит это неудержимое движение неведомо чего.

Но остановилась сама, поражённая тем, что как раз перед нею высунулась из снега громадная когтистая лапа – каждый коготь с полено! – делая размеренный шаг. А над когтями –

движущая масса гигантской ноги, покрытой костяными пластинами плашками, а выше – бок чудовища в панцире.

Она мгновенно поняла: огромный доисторический ящер или дракон, каких рисуют в книгах или показывают по телевизору, ползёт на них, громящая костяными пластинами панциря и хребта, скребя по мерзлой земле, и где-то вверху – по крайней мере три пасти изрыгают рычащие звуки.

А Ваня увидел: первая рокошущая машина, вся залепленная снегом, ворвалась в подснежный ход, пересекая его наискось. Если б не рёв мотора, было б похоже на движение снегового потока. Однако Ваня различил вращающиеся колёса и блестящие траки гусениц.

- Танки! – глазам своим не веря. Выговорил он.

А уже вторая машина пересекала подснежный ход, и выдвинулась следующая, угловатая, как кирпич.

- Да это ж не наши – немецкие!

Выползла машина с брезентовым верхом; на краткое мгновение промелькнули сидящие возле заднего борта фигуры солдат в шинелях, испятнанных снегом. Они пели:

- Дюрх ди фельдер... дюрх ди ойен...

Ваня обернулся: где мать? Маруся была рядом.

- Они заблудились, мам! – закричал он ей. – Ещё с прошлой войны заблудились! Это немцы! Они поют «Через поля, через долины...».

Вынырнула ещё одна машина с солдатами. .. Головы их были окутаны чем-то, вроде шалей. И уж совсем не оставляя сомнений, донеслась отрывистая, лающая речь:

- Ферфлюхте фельдер... Ферфлюхте шнее!

- Это наши поля, наш снег! – закричал Ваня, не совладав со вспыхнувшей яростью. – А вы – ферфлюхте зольдатен!

Немец-шофер из кабины оглянулся на Ваню, крикнул что-то, но что – не разобрать. В потоке снега, толкаемого этой колонной танков и автомашин Ваня с Марусей были отброшены в сторону. Он успел схватить мать за руку и держал крепко.

Они отпихивались от снега, отплёвывались, откашливались, затиснутые снегом, когда услышали в рокоте удаляющейся колонны глухой выстрел и следом короткую автоматную очередь.

А в наступившей затем тишине бодро пропел в два голоса петух...

4.

Сколько они спали? Невозможно определить: часы опять остановились. И опять было тихо. Казалось, всю ночь кто-то нашептывал в уши:

- На именины царевны... слушайте спаского набатца... после вечернего набатного звону до утреннего набатного ж звону...

О чём предупреждали? Что должно было произойти? Не ведомо.

Ваня проснулся от звуков, отрадно отозвавшихся в нём: за окном, как бы в проулке, отбивали косу. Стук молотка по бабке раздавался чётко, даже звонко. Казалось, вот если сейчас встать да выйти на – там будет солнечно, у завалинки куры гуляют и купаются в пыли, над полем жаворонок поёт.

Он сел в постели – стук молотка прервался, и слышно было, как о лезвию косы провели бруском; потом ладненько последовало: вжик-вжинь, вжик-вжинь.

- Офросинья! – послышался мужской голос.

Ему никто не ответил. Звякнула коса обо что-то, хлопнула дверь – вроде как в соседнем доме это.

И – тихо. Однако Маруся тоже проснулась, встала, зажгла лампу. Ваня увидел её лицо: глаза припухлые – это от вчерашних событий – богослужение в снежном храме... долгое барахтанье в снегу. Как теперь быть? Что со старухами? Поиски их в снегах ни к чему не привели. Может, сами нашлись?

- Судя по тому, что кто-то собирается косить, сейчас утро, - размышляюще сказал Ваня, стараясь говорить пободрее.

- Или вечер, - отозвалась Маруся. – Косы по вечерам отбивают.

- Хорошо, если мы спали только дну ночь. А если две-три?

- О том ли забота! – вздохнула мать, одевая пальто. – Митрия Колошина убили, как хоронить будем?

Митрий Колошин был сражён автоматной очередью, которую они слышали, барахтаясь в снегу.

Она молча ушла, но вернулась скоро, запыхавшаяся. Весь принесла такую: покойный Митрий Колошин лежит уже на веранде своего дома, куда его занесли вчера, а положен кем-то на улице, возле крыльца, на возвышении, убранном между просим, живыми цветами.

- Ну вот, - сказал Ваня с непонятым выражением. – Началось... с утра пораньше.

- Там и почетный караул стоит, Вань. В парадной форме и с ружьем.

- И больше никого?

- Тебе этого мало?

Маруся явно была ошеломлена увиденным.

- Там должен быть... кто-нибудь, кто распоряжается.

Мышь пробежала за обоями по пазу между бревнами. Слышно было, как встретила с другой, попищали обе и разбе-

жались. Или это не мыши? Раньше-то ведь не бегали! Может, там поселились «свои люди»?

- Пропавшие не появились? – тихо спросил Ваня.

Маруся пожала плечами.

- Надо искать, - вздохнул он.

А где искать и как искать?

Но Ваня так рассудил еще вчера: если есть кто-то, в чьей власти так распорядиться событиями, то уж этот «кто-то» должен найти пропавших старух. Можно предположить, что он, этот «кто-то», и есть главный виновник всему, с него и спрос.

5.

Неведомо почему он вспомнил, что в тот день, когда мчался на своём мотоцикле к узкому мосточку через Сухой ручей, по какому-то странному желанию глянул на небо и увидел там как раз то летящее, похожее и на дирижабль, и на плывущую утку, и... да бессмысленно искать сравнение! Оно несравнимо. Его тогда поразило, что над этим огромным летящим объектом сияли на солнце паруса... как над кораблём времён великих географических открытий.

В то мгновение, когда мотоцикл ринулся вниз. Ваня увидел и отделяющееся «яичко»... на этом всё оборвалось.

Теперь ему казалось, что он близок к разгадке происходящего, но в чём она, эта разгадка, не понимал. Ясно разве только то, что это видение является провозвестником несчастья или даже причиной его. Ведь если бы он тогда не посмотрел на небо, разве сорвался бы с мосточка!

Придя к такому выводу, он тихонько одел невысохшую куртку. Мать окликнула озабоченно:

- Вань, ты куда?

- Выгляну наверх, - отозвался он и добавил: - Со временем определиться надо: то ли день, то ли ночь.

- Петух пел... Или даже два петуха разом.

И то слава Богу. А то ведь помалкивали, не кукарекали.

Влез на чердак, оттуда на крышу. Лестница стояла возле трубы; глянул вверх, как из колодца, - небо черное, со звездами.

Да, наверху была ночь. Снежная равнина отсвечивала бледно. Наверху - лиловое, почти черное небо и на нём кругленькие звездочки, отнюдь не мерцающие, а словно бы горошек разной величины и разного цвета.

Едва только вылез из своей норы и встал на твёрдый, промороженный наст, тотчас увидел себя во весь рост там, на небесном склоне рядом с созвездием Орион – ногами на линии горизонта, сам величиной с это созвездие. Это был он, Ваня Сорокоумов, потому что ясно видно было его лицо со «счастли-

вой подковой», а взмахнул рукой здесь – отражение делало точно такой же взмах.

Не успел рассмотреть как следует себя, небожителя, – в той стороне, где Воздвиженское и Суховерково, увидел стоявший на вертикальных лучах света нелепый корабль с неясными очертаниями, в которых однако угадывались и паруса на мачтах, и носовая часть, увенчанная головой женщины, и рыбий хвост над кормою или вместо кормы.

- Эй, вы! Сверхчеловеки! – закричал Ваня.

- ...веки! ...веки! – прокатилось над снежной равниной.

- Как у вас насчёт мозговых извилин?

- ...вилины! ...вилины! – прокатилось опять.

Голос его звучал слишком громко, во всю Вселенную. Это урезонило немного, умерило пыл его негодования, но он продолжал, не сбавляя силы голоса:

- Я к вам обращаюсь, эй! Обиратели старушек и сирот! Уморители инвалидов! Насколько успешен ваш эксперимент? Вы довольны?

- ...вольны! ...вольны!

Ему хотелось выразиться как-то пообиднее для них, хотя без прямых оскорблений. Ведь это они, они виноваты в том, что снегом завалило всю Русскую землю!

- Эй, вы, яйцеголовые гуманоиды!

Голос его наполнял всё пространство под небом, но корабль молчал, в нем так же спокойно светились иллюминаторы.

- Предупреждаю: наше терпение не беспредельно! Ещё немного, и мы раздолбаем ваш неопознанный летательный объект топорами! Мы приколем вас самих вилами! Это дело нам знакомо – загляните в нашу историю. Вы слышите меня?

Ему никто не ответил.

- Что вам надо от нас? Я подозреваю, что вы хотите силой отнять то, чем мы по доброте своей готовы щедро поделиться с вами, как с нищими на паперти! Вы слышите, что я сказал?

Всё это было ужасно глупо: стоять посреди равнины и кричать, когда тебя никто не слышит. Ещё глупее кричать там, на небе.

А как не кричать? За что они убили Митрия? Зачем разрушили подснежный храм? Куда дели беспомощных старух? И что теперь делать тем, кто ещё жив в деревне Лучкино?

- Предупреждаю: мы долго запрягаем, но быстро скачем! Мы любим быструю езду!

Поднебесное пространство молчало, равно как молчалив был и тот объект с парусами, стоявший на световых опорах.

- Предлагаю сесть за стол переговоров! – заключил Ваня упавшим голосом.

Было что-то высокомерное и даже презрительное в том дирижабле-паруснике. Корабль жил: светили и гасли оранжевые огни вдоль по борту, перемещались пучки света.

Совсем обессилов, Ваня сел на снег и свесил ноги в дымоход. Снизу маленько веяло теплом.

«Может, не они виноваты? – размышлял он. – Мне ли на зеркало пенять, коли рожа крива! Это расплата».

Мороз пощипывал уши. Ветерок веял ровно. Тоскливо было и безнадежно...

- Такие дела, - вздохнул он горестно, глядя на самого себя, сидящего на небе. – Убили Митрия... как теперь его хоронить? И что со старухами? Как их отыскать?

Чувство одиночества охватило его - он был один во всей Вселенной. Никто ему не поможет, никто не утешит.

Однако он был услышан на этот раз. Он был услышан! И, наверно, не тогда, когда кричал, а когда вот так сидел и думал, и вздыхал, страдая, или даже ранее... Но кем был услышан, вот вопрос!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1.

Перед домом Колошиных было уже расчищено от снега довольно большое пространство, причем работа эта исполнена столь аккуратно, словно сам Митрий вставал ради нее, после чего и улегся на возвышении совершенно успокоенный. То возвышение, на котором он лежал, было покрыто великолепной черной тканью, ниспадавшей тяжелыми складками до самой земли... вернее, до утоптанного снега. На ней вышиты серебром грозные, рычащие медведи.

По четверо с двух сторон от лежавшего Митрия стояли румяные солдаты в дубленых полушубках, туго подпоясанных широкими ремнями. Солдаты казались изваяниями... нет-нет, они были живые, моргали по крайней мере и крепко держали в руках (перчатки из белой кожи) карабины с примкнутыми штыками. Скосив глаза, они поглядели на Ваню и стали еще строже.

От всего этого оторопь брала.

Одет был Митрий в старое солдатское обмундирование. Голова его покоилась на голубой бархатной подушке с кистями, лицо почти живое, но с печатью той торжественности, которая отличает лица умерших. Возле ног покойника и к бревенчатой стене дома, к тесовому крылечку и просто к снежной стене были прислонены десятка два живых венков с широкими черными лентами. На одной из них Ваня прочитал: «От офицеров

Преображенского пехотного полка». На другой - «От эскадрона пеших гусар». Еще были – «От Стрелецкого приказа», «От командира артдивизиона полковника Вырина», «От офицерского собрания воинской части...» «От третьей заставы Московского погранотряда»... И ещё, и ещё...

Никого, кроме почетного караула, возле дома Колошиных не было. Не смея подойти близко, Ваня постоял в растерянности на почтительном расстоянии, и отправился домой. Когда дошел до колодца, что напротив дома Анны Плетневой, его настигли звуки пронзительно печальной мелодии.

Вернулся – у изголовья покойника человек в офицерской шинели, без фуражки играл на флейте. Все в этом флейтисте было прекрасно: и музыка его, и новенькая шинель с золотыми погонями, и мужественное лицо с багровым шрамом на щеке от сабельного удара, рассекшего и ухо.

Вдруг появилась Ольга. Она прошла мимо Вани, ни слова не говоря, перекрестилась, зажгла большие свечи возле головы покойного брата, вставила маленькую зажженную свечку в его руки, сложенные на груди.

Ваня как-то сразу успокоенно подумал: раз здесь горбунья, значит, и Махоня с Анной вернулись в деревню, а иначе и быть не может.

Офицер спустил флейту, вынул белый платок, провел им по лбу, обмахнул щеки...

2.

Ольга положила на край гроба небольшую книжечку, очень ветхую, полистала и начала читать:

- «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!...»

Офицер оглянулся на Ваню – это был Верунин гость, Сергей Аркадьич. Но откуда и почему этот шрам на лице? Когда и где он успел так отметиться?

- «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, - читала Ольга, - которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет...»

Флейтист – нет, это все-таки не Сергей Аркадьич – поднял свою флейту, раздался тихий плачущий всхлип и опять зазвучала трогательная мелодия.

- «Зачем мятутся народы, - бесстрастно читала Ольга, - и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа...»

Под непрерывное, ровное чтение горбуни произошла смена караула: вместо солдат в полушубках, поскрипывая снегом, встали по четыре с двух сторон молодые ребята в красно-армейских шлемах и длинных шинелях; в руках у них были уже не короткие карабины и винтовки с примкнутыми, но уже трехгранными штыками.

- *«Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей? – возносился голос Ольги. – В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышишь молитву мою...»*

Флейтист заиграл другую мелодию – то был печальный рыдающий мотив, в который врывались грозные ноты.

- *«Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к тебе молюсь, Господи! рано услышь голос мой – рано предстану перед Тобою, и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония... Господи! путеводи меня в правде твоей...»*

То ли патетические воззвания эти, то ли музыка так сильно подействовала на Ваню, что он не мог более этого выносить – слишком велико было душевное напряжение – и отправился домой – перевести дух, а когда уже дошел до дома, сзади донеслось удивившее его пение – мелодическое плетение множества голосов, создававшее иллюзию музыкального оркестрового исполнения! Неужели появился хор?

Пришлось вернуться к дому Колошиных – тут на почтительном расстоянии от гроба стояли Веруня, рядом с нею Ольга, прижимая книжечку к груди, чуть в стороне – офицер-флейтист. Они внимательно слушали пение. И Анна Плетнева была здесь, и не одна – рядом с нею стояли воины ее – муж Степан Данилыч, сын Леша в форме летчика, в летном комбинезоне, Рома – в штатском, и внук Юра – в пятнистой форме. Они слушали пение, опустив головы, а хор был там, куда они, да и Ваня тоже, почему-то не смели поднять глаз. То, что пелось, почему-то напоминало теперь колыбельную, но она была... небесной возвышенности. Казалось, светлая утренняя бездна заполнена до краев мелодией, подобной гимну, и ты в ней...

И Махоня была тут, радостная, как на празднике.

Илюша, Никишка и Алешка жались к своей матери, на лицах их было явное напряжение мысли – братья в меру сил своих старались понять происходящее.

Песнопение исполнялось поочередно то хором, то солистом, словно они вели разговор меж собой. Пение это всецело владело Ваней Сорокоумовым. У него возникало представление о богатырском шествии или сияющем, тихо льющемся свете в сочетании со страстной мольбой неведомо о чем... Временами слышны были в отдалении разрастающиеся перезвоны колоколов... Ваня понял так: то была история жизни одного человека в

переложении на музыкальный язык – жизни того, чей земной путь уже закончен.

- Радостно очень, - заметила Маруся, оказавшаяся рядом с сыном. – Разве можно так на похоронах?

- Им виднее, - отозвался Ваня. – Они знают больше, чем мы.

- О чем? – не поняла Маруся.

- О смерти... и о Митрии.

3.

Старушка-нищенка появилась откуда-то и положила букет цветов к ногам покойного Митрия. То были полевые цветы, только очень крупные – пронзительно-синие васильки, бело-желтые ромашки, красные гвоздики и большой султан иван-чая, цветущий всем соцветием сразу. Положив этот букет, старушка отступила и замерла. Ваня узнал ее: это была та, что встретила ему в снегопаде, когда он и Катя шли из школы домой.

Как только она появилась – словно ветерок опахнул присутствующих. Горбунья Ольга тотчас шагнула к ней и хотела опуститься перед нею на колени, но старушка остановила ее, что-то сказав. Ольга поцеловала край ее большой шали и отступила. Все прочие остались в тех же положениях: музыкант не прерывал своей игры, лучкинские стояли молча... лишь Ольга не могла успокоиться: если раньше она молилась возле покойника с лицом суровым и скорбным, то теперь она счастливо плакала.

Нищенка оглянулась на крыльцо колошинского дома, и тотчас туда вынесли кресло, в которое усадили Катерину. Голову и плечи вдовы покрывала черная шаль с грозными медведицами в окружении медвежат, вышитых не серебром, а золотом.

Флейтиста сменил трубач – в черной бархатной блузе, подпоясанной серебряным витым ремешком, потом наступила очередь скрипки – играла на ней женщина в черном платье в серебряных блестках и с большим черным гребнем в рыжих волосах... после женщины этой печальный старик с пышным седым чубом играл на гармонии «Катюшу» и «Синий платочек».

Все время, пока длился этот своеобразный концерт, и пока Ваня стоял здесь, чувствовалось присутствие единой организующей и направляющей воли, и хоть источник или носитель ее был неведом, но ей повиновались охотно, с радостной готовностью. Как это ни странно, однако можно подумать, что главным распорядителем здесь является вот эта нищенка, хотя не видно было, чтоб она отдавала какие-то приказания.

К Катерине иногда подходила и склонялась над нею женщина в белом платке с красным крестиком надо лбом, что-то шептала ей.

Почетный караул время от времени обновлялся: красноармейцев сменили десантники в пятнистой форме, их сменили в свою очередь солдаты в красных мундирах и треуголках, из-под которых выглядывали завитые парики, затем встали морские пехотинцы в шапках-ушанках и черных бушлатах. Даже воины в кольчугах и с красными щитами в руках постояли у тела Митрия! Наряды почетного караула появлялись из-за снежной стены, проходили церемониальным шагом, четко поскрипывая по утоптанному снегу, и смена происходила так же строго, как на Красной площади.

4.

Дальний колокол пробил двенадцать раз, обозначая полдень или полночь, и явились четверо в полувоенной форме, посоветовались с сидящей в кресле Валентиной.

Один из них подошел к Ване, сказал:

- Ну, что? Начинаем шествие?

Ваня кивнул, отнюдь не удивляясь, что обратились именно к нему. Старушка-нищенка стояла при этом, потупясь. Эти четверо взяли на плечи тело Митрия Колошина, лежавшее не в гробу, а как бы на невидимой плоскости. Откуда-то появился сияющий трубами оркестр... грянула скорбная музыка... Процессия выстроилась сама собой и двинулась вдоль деревни по уже расчищенному для нее ходу.

Впереди шла Ольга, неся на груди икону, за нею несли Митрия Колошина, лицо его на фоне снега четко выделялось строгим профилем и казалось очень мужественным и даже красивым.

За покойным шла Катерина – ее поддерживали с двух сторон под локти золотопогонный офицер-флейтист и красноармеец в длинной шинели, эти двое были молчаливы и не смотрели друг на друга.

А уж за Катериной шли нестройной толпой все лучкинские: Ваня с матерью, Веруня с ребяташками, бабушка Махоня, Анна Плетнёва со своими воинами. Ваня оглянулся: в нескольких шагах сзади шла и нищенка. А дальше... там оказалась большая толпа, в которой можно было узнать и Абросима, и жену его Анисью, и Аринку с братьями, и Авдошку, и тех двоих мужиков, что толковали про орамые земли и наволоцкие пожни... Много людей сопровождало Митрия Колошина в последний путь! Они шли подснежным ходом, кем-то про битым в снеговой тоще наподобие битым туннеля метро от деревни до

Селиверстова холма. А когда остановились там, музыка оркестра проломила толщу снега и сверху выглянуло солнце. Она смолкла на высокой ноте, и наступила тишина.

Но это было потом, а пока что Ваня придержал шаг; потом остановился, поджидая, пока старушка-нищенка поравняется с ним, сказал тихо:

- Здравствуй, бабушка.

- Здравствуй, - отвечала она ласково и назвала его по имени.

- Откуда ты знаешь, как меня зовут? – сразу озадачился и растерялся он.

- Разве ты не помнишь меня? – удивилась она. – Это я стояла над тобой, когда ты лежал на камнях в ручье. Мы разговаривали, ты мне и имя своё назвал.

- Но я был без памяти!

- Мне понравилось, как ты говорил. Я молила за тебя.

Ваня почувствовал такое волнение, какого не испытывал никогда ранее.

5.

Всё дальнейшее как бы распалось в сознании Вани на отдельные эпизоды, не связанные между собой.

- Помолись за Митрия Васильича, бабушка, - горячо попросил он. – Митрий воевал... у него ордена.

- Я знаю это, потому и пришла.

- Он погиб не по земным законам – был убит... призраками, - убеждал Ваня. – Оживи его, как оживила меня.

- Он погиб в свой срок и на своей, а не на чужой войне, - возразила она тихо, но твёрдо. – Его уже определили в небесное воинство. Там главное сражение.

- За святую русскую землю?

- И за неё тоже... она богохранима.

Через какое-то время Ваня Сорокоумов уже просил её:

- Пусть и меня возьмут в то воинство, бабушка. У Митрия ног нету, какой с него прок! А у меня руки-ноги на месте, и я молодой!

- Он будет там молодым, - опять возразила старушка. – А ты... у тебя другое... твоё дело впереди. Я попросила за тебя...

- Кого? – спросил Ваня, замирая душой.

Но старушка только улыбалась в ответ: мол, что ты спрашиваешь, когда знаешь! Ваня знал, но ему хотелось слышать подтверждение своей догадки от неё самой...

Митрия опускали в могилу просто завернутым в богатую ткань.

- Почему его хоронят без гроба? – спросил Ваня у той, что была в облике старушки-нищенки..

- Он был воин, - кратко ответила она, словно это всё объясняло.

Над закрытой могилой Митрия Колошина солдаты почетного караула сделали залп из карабинов... и ещё... и так семь раз.

Оркестр сыграл гимн... если только это был именно гимн – очень торжественная музыка, но такой Ваня никогда не слышал ранее.

И там же, на Селиверстовом холме, оказался стол со строгим угощением: кутья в широкой миске... стаканчики с водкой и вином и на каждом стаканчике хлеба кусок с положенным на него ломоточком чего-то вкусного.

Ваня Сорокоумов тоже выпил горькой водки, не стучаясь своим стаканчиком с соседями напротив или рядом: перед ним по ту сторону стола сидели Абросим с семейством, Анна Плетнёва со своими суровыми мужиками... а рядом – по одну сторону мать, а по другую – офицер–золотопогонник, а дальше Веруня с ребятишками, перед которыми грудкой лежали конфеты в виде лесных орехов.

Где сидела на тризне той старушка-нищенка, он не знал...

Но потом, когда уже возвращались в Лучкино, он пять разговаривал с нею – то был какой-то важный разговор, от которого не вспомнить ни слова, осталось только ощущение, что всё сказанное лежит у него, Вани Сорокоумова, где-то глубоко в душе... как святой завет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1.

После тех похорон случилось... В ходе сообщения, который был прорыт вдоль деревни, вдруг повеял довольно сильный ветер. Словно где-то открылось окно или образовалась зияющая прореха, и вот возник сквозняк. Этот ветер подталкивал Ваню в спину, как бы принуждая идти в определенном направлении. Подснежный этот ход превратился как бы в вентиляционную трубу.

Ветер становился всё сильнее, донеслись крики... Он прибавил шагу, потом побежал – ноги разъезжались в снегу. Что там случилось? Ему пришла в голову мысль, что где-то впереди поднявшимся вихрем закрутило весь снежный пласт, вихрь за-

хватил и людей. Но в следующее мгновение он услышал заполошный крик:

- Пожар!

На пути ему попалась Махоня.

- Где горит? – спросил у неё Ваня.

- Шурыгины... - успела она сказать.

Впереди слышен был ровный шум – словно там работал реактивный двигатель. Мутная вода текла навстречу бегущему и сворачивала под уклон, к Вырку.

Ваня мгновенно понял весь ужас происходящего: ухарцы добаловались с керосином... небось, чиркнули спичкой, поты и полыхнуло. В памяти промелькнуло сказанное Веруней: «Самобьются они у меня».

Ваня бежал, разбрызгивая эту воду. Пахнуло горячим ветром в лицо, красноватый свет осветил толщу снега. А вот и пламя показалось впереди, как раз откуда-то сверху упало горящее бревно. В шуме пожара ему ясно почудились отчаянные крики Алёшки, Илюшки, Никишки. Он кинулся в огонь – спасти, спасти «ухарцев» – но откуда-то появившаяся мать успела схватить его, остановила, словно поймала, крепко обняла.

- Ванечка, стой! Куда ты?!

- Пусти! Там же ребяташки!

- Нет-нет, - горячо дыша, выговорила его Маруся. – Веруня увела их.

Он не сразу осознал это, всё старался освободиться, но мать держала крепко. Он не сразу пришёл в себя от страха за ребят. Его била крупная дрожь – от перевозбуждения.

Невозможно было охватить взглядом всю картину пожара. Сверху клубился дым, словно пытаюсь пробраться в ход сообщения, но нижний ветер отгонял его. Именно от этого низового ветра, как в печь из подтопка, огонь разгорался сильнее: слышался треск, бушевавшее пламя рвалось вверх, увлекая всяческий прах и пепел. Снег плавился и как бы увядал.

Нет, ничего уже нельзя было сделать: ни вытаскивать Верунино добро, ни заливать огонь....

Какое-то время спустя, Ваня выбрался наверх через дымоход собственного дома. Снежная равнина была залита солнечным светом. И по белизне её, чернея, тянулся в сторону по ветру след пожара. Ваня приблизился к тому месту, где стоял дом Шурыгиных – тут был лишь чёрный провал в снегу. Края этого круглого провала отвесно уходили вниз, и оттуда, снизу, ещё курился голубоватый дымок и воздух тут плавился от жара.

Ваня Сорокоумов обвёл взглядом всё, что можно было видеть: бледное небо и солнце на нём зимнее, негреющее, - погода ясная обещала мороз к ночи.

2.

После тех похорон да после того пожара заболел Ваня Сорокоумов. Он лежал в забытии иногда молча, иногда бредил – разговаривал истинно как дурачок.

Из его сбивчивой речи Маруся лишь кое-что понимала:

будто бы человек по фамилии Мухин пришёл в Лучкино раскулачивать Митрия Колошина... и Мухин этот – «из тридцатого года»;

что деревня Вахромейка заявила о своей полной независимости и избрала собственного президента - Володю Немтыря;

что какой-то Алфёров, переодетый то ли омоновецем, то ли десанником, разыскивает Верочку Устьянцеву, и надо её спрятать понадёжнее;

что Кубарик Паша из деревни Починок собирается в Кремль, чтоб посадить там кого-то царём, и чтоб портрет этого царя был на деньгах, которым верят все;

что с этим Пашей Кубариком князь Сергей Аркадьич поют, и Ваня им подпевал:

*Едут, едут юнкера гвардейской школы,
Трубы, литавры на солнце блестят.
Эй, грянем «Ура», лихие юнкера,
За матушку-Россию, за русского царя.*

что какой-то Овсяник дошёл-таки до Иерусалима и молится там о спасении деревни Лучкино и всей Руси:

что беда в нашем государстве оттого, что деньги дешёвы; по крайней мере именно так решили мужики в какой-то харчевне, где на стене висят связки баранок и кренделей, а чай заваривают турецкий, из кладовки самого султана.

И ещё горячо просил Ваня какую-то *бабушку* взять его в небесное воинство, чтоб защитить святую русскую землю от нашествий злоумышленных татаро-монголов и немецко-фашистских оккупантов.

Вот эта последняя мольба очень обеспокоила Марусю, и ободрило только то, что *бабушка* отказалась «умолить сына своего» записать Сорокоумова Ивана в это самое воинство, что у него «свой путь», и что ему «определён свой срок».

Медсестру их Пилятиц Маруся к сыну не вызывала – водополица началась, в Лучкино и из Лучкина не проехать, не пройти. Снег таял стремительно и столь же стремительно утекала по низине вода

Ваня иногда накоротко приходил в себя, печально смотрел на мать; она кормила его, спрашивала – он отвечал кратко, а сам ничем не интересовался.

3.

Не знала Маруся, что однажды, проснувшись, сын её увидел рядом с собой прозрачный шар, в котором раздвинулась сфера, и «на пороге», как на ступеньке крылечка, сел тот, что называл себя *королевичем* или *маленьким принцем*.

- А-а, это ты! – обрадовался Ваня. – Зачем явился?

- Ты болеешь, царевич, - отвечал тот. – Больных надо навещать, ободрить, воодушевить. А то как бы не умер.

Это он так пошутил. Потом был у них разговор, от которого в памяти Вани осталось, как гость говорил:

- Вы – странные существа. У вас есть то, что нами, по-видимому, было утрачено: любовь, нежность, грусть... Всё это путает наши расчётные системы. Мы не понимаем вас!

- Но ведь вы – небожители, почти боги! – напомнил Ваня. – Или всё-таки самозванцы?

- У нас разум... Мы рассчитываем завтрашний день – вы этого не в силах сделать. Вы даже погоду на завтра не можете предугадать. Нам смешно наблюдать за вами, когда ваши учёные занимаются научными экспериментами или теоретическими выкладками. Потому я и сказал в прошлый раз, что вы мыслите в категориях забавной Вселенной.

- Забавно – это когда утверждают, что небесная сфера тверда, как лёд или стекло, - довольно сердито вставил Ваня.

- Ладно, это потом... я же обещал, царевич!

Тут вышла у них заминка, после которой *маленький принц* продолжал:

- Нас ставит в тупик в вашей природе вот что: вы не дорожите жизнью, легко расстаётесь с нею, подчас из-за пустяка, небрежности или явной глупости... Нам совершенно непонятно: вот двое стоят на краю пропасти, один нечаянно срывается в неё – другой кидается за ним следом ради его спасения и без всякой надежды на такое спасение. Почему? Разве это не глупость? И он знает, что неразумно, однако не может иначе... Мы бьёмся над этой загадкой... Она не расшифровывается ни на уровне строения физической оболочки, которую вы называете телом, то есть на уровне молекул, ни на уровне бесконечно малых частиц психической энергии. Это тайна... Мы будем властителями мироздания, если разгадаем её.

- Ясно, - сказал Ваня. – Без нас не видать вам царствия небесного.

- Прощай, царевич! Не скоро увидимся. Мы отлетаем сегодня.

- Не забывай обо мне, а я тебя не забуду.

Так они попрощались, и гость преодолел стену дома в своём прозрачном шале, словно стены вовсе не было.

4.

После этого гостя на столе возле кровати осталась пирамидальная банка, в которой колыхались полупрозрачные оранжевые ягоды.

Маруся первой увидела её и удивилась. Ягодки были величиной с вишню или покрупнее немного, похожи и на икру какой-то рыбы.

Ваня оживился, привстал на постели:

- Ну-ка, принеси ложку.

- Ты думаешь, это можно есть? – спросила Маруся с испугом.

- Да знаю я, чьи это фокусы!

Он добыл ложкой сразу две ягодки, он оказались не круглые, а такие кубики, при свете керосиновой лампы переливались янтарным и оранжевым светом. Положил в рот одну, хитренько улыбаясь:

- Холодненькая... мокренькая...

Нажал зубами – во рту разлилась приятная свежесть. Никакая это не ягодка – просто маленькая ёмкость с соком. Пожевал и шкурку – вкусно.

После тех ягод он как бы очнулся от долгого сна. Взгляд его стал осмыслен, лицо спокойно. Маруся обрадованно присела на кровать: слава Богу, получше ему, значит, на поправку дело пошло.

- Катя приходила проведать тебя, - сказала мать.

Он сделал равнодушный вид:

- Какая Катя?

- Да Устьянцева. Но ты спал, и мы не стали тебя будить. Она сказала, что знает, что ты приходил спасать её, беспокоилась о тебе и обещала прийти ещё раз.

- Печка топится нормально? – спросил он, чтоб перевести разговор.

- Топится, Вань. Тебе холодно?

- Нет, я про трубу.

Потом он очень осмысленно спросил:

- Митрия... похоронили?

- Да. Умер Митрий Васильич.

Сын поправил ее строго:

- Он не умер – погиб.

Маруся не стала возражать, согласно кивнула:

- Конечно, погиб...

- Пуля долго летела, сколько лет, и вот настигла его. Он погиб, как воин.

Они помолчали.

- Вот сороковины-то по Митрию отмечать некому: Катерину увезли в больницу... оттуда ее дочь, небось, к себе заберет.

- А Веруня?

- Веруня вместе с детишками уехала к сестре на Селигер. Ваня загоревал.

- Надо же... ах, ухарцы! Как же теперь нам-то без них?

- Что делать, жись такая... Махоню тоже забрали: сын приехал и увез в город, дом заколотил.

- А *свои люди*? Где они?

Маруся в ответ положила ладонь на его лоб.

- Теперь в Лучкине остались только мы с тобой да Анна Плетнева. Ничего, проживем... как на хutore. Вот телята остались, с ними повадно.

Он загрустил, а через некоторое время сказал:

- С некоторых пор мне стало казаться, что я знаю что-то лишнее. Это очень тяжело... Но вот нынче лишнего во мне нет. Не знаю, хорошо это или плохо.

- Хорошо, Ваня.

Он не ответил, но был печален, как при большой потере. Встал и посидел у окна – все думал о чем-то.

5.

В тот день словно сам собой явился транзисторный радиоприёмник: оказывается, завалился за сундук. Ваня вынул из него обессилевшие батарейки, молотком крепко постучал по каждой, вставил снова и – о, чудо! – приёмничек ожил: зашипел, затрещал и заговорил человеческим голосом:

- ...в Среднем Поволжье три градуса ниже нуля. В Верхнем Поволжье... в Санкт-Петербурге слабый снег, четыре градуса... в Москве без осадков. Мы передавали последние известия.

Ваня покрутил колёсико настройки – дикторы зарубежных радиостанций вещали на всех языках заинтересованно, живо, но спокойно. Значит, вселенской катастрофы не произошло – только снегопад местного масштаба.

Сразу расслабилось что-то в груди, Ваня улыбнулся блаженной улыбкой. А потом словно некая сила вселилась в него. Он поднял руки, как крылья, желая взлететь, и закружился пол избе. Ноги, руки... каждая жилочка его тела ликовала и просила движения. И – эх! – перешёл на бешеный темп.

Кто это так ладно, так четко выбивал босыми ногами ритм? Неужели он? Словно за ним следил огромный зал со зрителями... но нет, никто не видел его в эту минуту, разве что кошка Ведьма смотрела на него удовлетворённо.

И хоть радиоприёмник опять замолчал, обессилев, но это уже не имело значения.

ЭПИЛОГ

Он вышел на улицу, спустился к ручью. Было солнечно при влажном ветре. Вырок напористо шумел, кружа шапки белой пены. Мысли текли чередой, не торопясь, спокойно:

«Растаяли снега... Растаяли... Или нет?»

Он запрокинул голову, посмотрел вверх – жаворонок пел как раз на той высоте, где когда-то можно было ходить на лыжах... На мгновение показалось: лежат, лежат снега! Но нет... всё обычно. Прошлогодняя трава в низине была помята, приглажена недавним половодьем – судя по этому, разлив был велик.

И вот тут он увидел на берегу ручья глыбу льда неправильной звездоподобной формы... словно она откололась от лучезарного твердого неба и упала сюда.

Он нагнулся и потрогал её – рука не ощутила холодного или мокрого, зато от прикосновения в душе родилась радость... Это был не лёд! Это был именно осколок неба. А радость оттого, что опять обрел он ту тяжесть в душе, что и не тяжесть вообще, а иное.

Его охватило ликование: он присел, положил обе ладони на телесно-гладкие грани и замер. Казалось, даже руки уловили легкий музыкальный шум, подобный шуму роящихся звёзд, исходивший из глыбы. Голубоватый отблеск лежал на ладонях и на всём вокруг, а у нижней грани, которой «кусочек неба» опирался на землю, слабо светила радуга.
